

Annotation

Основой написания повести «Летят мои кони...» послужила биография писателя. В ней рассказывается о тех, кто встретил войну в семнадцать лет.

- [Борис Васильев](#)
 - [***](#)
-

Борис Васильев
Летят мои кони...
Повесть о своем времени

*«Я, Васильев Борис Львович,
родился 21 мая 1924 года в семье
командира Красной Армии в городе
Смоленске на Покровской горе...»*

А сейчас я еду с ярмарки.

Еще размашисто рысят кони, еще жив праздник в душе моей, еще кружится голова от вчерашнего хмеля и недопетая песня готова сорваться в белесое от седины небо. Еще не остыли на губах ворованные поцелуи случайных женщин, любивших любовь больше, чем меня, и тем самым вложивших свой камень в котомку моей усталости. Еще хочется пробежаться босиком, поваляться на траве, нырнуть с обрыва в незнакомый омут. Еще так трудно оторвать взгляд от женских ног, еще пытаешься казаться умнее, еще мечтается перед сном и хочется петь по утрам. Еще не утолена вся жажда, еще веришь в себя, и еще ничего не болит, кроме сердца.

И все же я еду с ярмарки, а это значит, что между моими желаниями и моими возможностями, между «хочу» и «могу», между «еще» и «уже» начала вырастать стена. И каждый прожитый день добавляет в эту стену свой аккуратный кирпичик. Я еще хочу бежать вслед за уходящим поездом, но уже не могу его догнать и рискую остаться один на гулком пустом перроне.

Чувства притупляются, как боевые клинки: об них уже не обрежешься, не вздрогнешь вдруг от запаха первого снега, от цвета свежей смолы, от стука вальков на реке. Уже не слышно тишины и не видно тьмы, уже позади все, что случалось впервые, и порой уже кажется, что на свете не осталось ничего нового, кроме смеха и солнца, дождя и слез, мороза и птичьего гомона. Уже знаешь, что ждет за поворотом, потому что потерял им счет, но сердцу не прикажешь, и оно снова и снова замирает в груди, и ты упрямо надеешься успеть понять, додумать, написать. Но уже ничего не вернешь, и неразгаданные мысли, ненаписанные романы и не встреченные встречи, что призрачным роем еще вьются вокруг, уже для других.

Я еду с ярмарки, кое-что купив и кое-что продав, что-то найдя, а что-то потеряв; я не знаю, в барышах я или внакладе, но бричка моя не скрипит под грузом антикварной рухляди. Все, что я везу, умещается в моем сердце, и мне легко. Я не успел поумнеть, торопясь на ярмарку, и не жалею об этом, возвращаясь с нее; многократно обжигаясь на молоке, я так и не научился дуть на воду, и это переполняет меня безгрешным гусарским самодовольством. Так пусть же неспешно рысят мои кони, а я буду лежать на спине, закинув руки за голову, смотреть на далекие звезды и ощупывать

свою жизнь, ища в ней вывихи и переломы, старые ссадины и свежие синяки, затянувшиеся шрамы и незаживающие язвы.

Мне сказочно повезло: я увидел свет в городе Смоленске. Повезло не потому, что он несказанно красив и эпически древен — есть множество городов и красивее, и древнее его, — повезло потому, что Смоленск моего детства еще оставался городом-плотом, на котором искали спасения тысячи терпящих бедствие. И я рос среди людей, плывущих на плоту.

Город превращают в плот история с географией. Географически Смоленск — в глубокой древности столица могущественного племени славян-кривичей — расположен на Днепре, вечной границе между Русью и Литвой, между Московским великим княжеством и Речью Посполитой, между Востоком и Западом, Севером и Югом, между Правом и Бесправием, наконец, потому что именно здесь пролегла пресловутая черта оседлости. История раскачивала народы и государства, и людские волны, накатываясь на вечно пограничный Смоленск, разбивались о его стены, оседая в виде польских кварталов, латышских улиц, татарских пригородов, немецких концов и еврейских слободок. И все это разноязыкое, разнообразье и разноукладное население лепилось подле крепости, возведенной Федором Конем еще при царе Борисе, и объединялось в единой формуле: **ЖИТЕЛЬ ГОРОДА СМОЛЕНСКА**. Здесь победители роднились с побежденными, а пленные находили утешение у вдов; здесь вчерашние господа превращались в сегодняшних слуг, чтобы завтра дружно и упорно отбиваться от общего врага; здесь был край Ойкумены Запада и начало ее для Востока; здесь искали убежища еретики всех религий, и сюда же стремились бедовые москвичи, тверяки и ярославцы, дабы избежать гнева сильных мира сего. И каждый тащил свои пожитки, если под пожитками понимать национальные обычаи, семейные традиции и фамильные привычки. И Смоленск был плотом, и я плыл на этом плоту среди пожитков моих разноплеменных земляков через собственное детство.

...Я вижу нашу комнату в домике на Покровской горе: тогда она казалась мне огромной, потому что свет керосиновой лампы не в силах был растопить темень в ее углах. Я сижу за столом, и мой подбородок упирается в книгу. Бабушка только что научила меня читать (подозреваю, чтобы я ей не мешал), и я громко читаю, а за столом чинно пьют чай старые женщины. На столе — колючий колотый сахар, черный хлеб и бабушкино печенье из ржаной муки, и хотя в стране нэп и лавки ломятся от товаров, у сидящих за столом нет денег на эти товары.

— Ай, какой хороший мальчик! — Худая, коричневая от бесконечных стирок рука ласково гладит меня по голове. — Нет, вы только послушайте, как громко он читает!

— Пусть мадам Мойшес не обижается, но нельзя же каркать в ухо русскому ребенку, — строго говорит рыхлая белесая дама. — Он научится картавить раньше, чем петь свои детские песенки.

— Ай, пани Ковальска, вы стали специалисткой по-русски? Так с вас же он всю жизнь будет говорить «койбаса» и «уошадь». Ну скажите мне, мадам Урлауб, разве я говорю неправду?

— Мадам Алексеева — артистка, она была в Париже и за границей, и она все объяснит, — решает третья гостья.

— Не так важно, как говорить, а важно, что говорить, — вступает бабушка, и все вежливо перестают пить чай. — А люди делятся только на мужчин и женщин, и если ты родился мужчиной, то будь им, а если женщиной, то тем более.

А я громко читаю, еще не ведая, что плыву на плоту и что люди делятся не на русских, поляков, евреев или литовцев, а на тех, на кого можно положиться и на кого положиться нельзя. Это проверенное деление: плот только-только оправился от урагана, имя которому «гражданская война», и его пассажиры очень хорошо знают, что значит всегда быть настоящим мужчиной, ну а женщиной — тем более.

...Я люблю тебя, старый Смоленск, ибо ты — колыбель детства моего. Ныне от тебя остались осколки, как от греческих амфор, а еще проще — как от моего детства. Твоя крепость выдержала пять осад, но она не могла выдержать ни последней войны, ни лихорадочного послевоенного строительства. И если знаменитые Молоховские ворота взорваны давно, то твоя еще более знаменитая Варяжская улица — твоя благородная седина, знак твоей древности — переименована в Краснофлотскую совсем недавно, а в десятке шагов от рвов бывшего Королевского бастиона, где когда-то насмерть стояли твои жители во главе с воеводой Михаилом Шеиным, построен танцевальный зал...

Нет, не танцзалом запомнилось мне детство, а Храмом. Двери этого Храма были распахнуты во все стороны, и никто не стремился узнать имя твоего бога и адрес твоего исповедника, а назывался он Добром. И детство, и город были насыщены Добром, и я не знаю, что было вместилищем этого Добра — детство или Смоленск.

— Эй, ребяташки, донесите-ка бабушке кошелку до дома!

Так мог сказать — и говорил! — любой прохожий любым ребятам,

игравшим на горбатых смоленских улицах. Прохожий мог быть русским или эстонцем, поляком или татаринном, цыганом или греком, а старушка — тем более: это было нормой. Помощь была нормой, ибо жизнь была неласкова. Конечно, помощь — простейшая форма Добра, но любой подъем начинается с первого шага.

Мы снимали домик на Покровской горе; в нем я родился, а почтовый адрес его тогда писался так: «Покровская гора, дом Павловых». Напротив, через овраг, почти осеня домик ветвями, рос огромный дуб. Сегодня такое дерево непременно обнесли бы оградой и снабдили табличкой: «ОХРАНЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ», но дуб не дожил до наших дней: в войну его спилили немцы. Не знаю, уцелел ли пенёк, — я не хочу видеть останков прекрасного, потому что помню это прекрасное живым. Это с него упал Метек Ковальский и сломал руку; это с него меня снимал дядя Сергей Иванович; это в его ветвях запуталась Альдона, и это ее спасал Моня Мойшес, и всем тогда было очень смешно. Альдона каким-то образом повисла вниз головой, выставив для обозрения розовые панталончики, и так орала, что сам дуб от хохота вздрагивал до самой макушки. Могучий дуб, под сенью которого мирно уживались русские и поляки, евреи и цыгане, татары и венгры: не по этой ли причине и спилили тебя проклятые нации?

— Боря, когда пойдешь гулять, занеси дяде Янеку соль, скажи тете Фатиме, что я нашла для нее выкройку, и попроси у Матвеевны стакан пшена в долг...

Голос мамы до сей поры звучит в моей душе; стремясь с самого нежного возраста заронить во мне искру ответственности, мама попутно, походя, без громких слов прививала мне великое чувство повседневного бытового интернационализма. И я ел из одного котла с моими друзьями-татарчатами, и тетя Фатима наравне с ними одаривала меня сушеными грушами; венгр дядя Антал разрешал мне торчать за его спиной в кузнице, где легко ворочали молотами цыгане Коля и Саша; Матвеевна поила меня козьим молоком, в Альдону я сразу влюбился и множество раз дрался из-за нее с Реном Педаясом. А еще были старая бабушка Хана и строгая мадам Урлауб, немец дядя Карл и слепой цыган Самойло, доктор Янсен и ломовой извозчик Тойво Лахонен и... Господи, кого только не осеняли твои ветви, старый славянский дуб?!

В шесть лет я расстался с дубом: после очередного переезда в какой-то городишко мы вновь вернулись в Смоленск, но жили уже в центре города, на улице Декабристов. А встретился с ним совсем неожиданно через год — пришел на экскурсию. Первую экскурсию в жизни.

Мою первую учительницу звали... К стыду своему, я не помню, как ее звали, но помню ее. Худошавая, строгая, ровная, безулыбчивая, всегда одетая в темное, из которого ослепительно вырывались белоснежные воротнички и манжеты, она представлялась нам, первоклашкам, очень старой, из прошлого века. И в один из общевыходных она велела собраться у школы, но не всем, а тем, кто хочет «пойти на экскурсию». Я хотел, пришел одним из первых; учительница пересчитала нас, вывела к знаменитым смоленским часам, под которыми назначались все свидания и от которых шло измерение во всех направлениях, и погрузила в маленький, шустрый и звонкий смоленский трамвай. И мы покатали вниз, к Днепру, по Большой Советской. Миновали Соборную гору, выбрались через Пролом из старого Смоленска, переехали по мосту через Днепр и сошли у рынка. И под предводительством первой учительницы переулками, садами и дворами вышли... к дубу.

— Это самый древний житель нашего города, — сказала первая учительница.

Может быть, она сказала не теми словами, сказала не так, но суть заключалась в том, что этот дуб — остаток священной рощи кривичей, которые жили в Гнездово, неподалеку от Смоленска, где и по сей день сохранилось множество их могильных курганов. И что вполне возможно, что Смоленска в те далекие времена еще не существовало, что возник он позднее, когда по Днепру наладилась регулярная торговля, и именно здесь, в сосновых берегах, удобнее всего было смолить суда после длинных и тяжелых волоков. Смолили суда, молились богам в священной роще и плыли дальше из варяг в греки. И постепенно вырос город, в названии которого сохранился не только труд его первых жителей, но и аромат его красных боров.

Я прикоснулся к дубу раньше, чем учительница велела это сделать. Ей-богу, я помню до сей поры его грубую теплоту: теплоту ладоней, пота и крови моих предков, вечно живую теплоту Истории. Тогда я впервые прикоснулся к прошлому, впервые ощутил это прошлое, проникся его величием и стал безмерно богатым. А сейчас с ужасом думаю, каким бы я стал, если бы не встретился со своей первой учительницей, которая видела долг свой не в том, чтобы, нафаршировав детей знаниями, изготовить из них будущих роботов-специалистов, а в том, чтобы воспитать Граждан Отечества своего...

...Много лет спустя на встрече с молодыми учеными в столь же молодом — даже кладбища своего не было, о чем мне с гордостью

поведали организаторы встречи, — городе меня спросили, а зачем-де нужна история в век научно-технической революции, то есть в век качественного скачка человечества? Чему может научить современного специалиста отвага давно отшумевших битв и дальновидность давно истлевших правителей? Да и наука ли вообще эта самая История, коли она с легкостью выдает сегодня за черное то, что еще вчера считала белым? Вопросы задавались с технической точностью и продуманностью, аудитория затаенно ждала, как я выкручусь, а я с горечью думал, каким же провидцем оказался бестелесный Козьма Прутков, сказав, что «специалист подобен флюсу». И дело не в том, как я тогда ответил, — дело в том, что я тогда увидел: город без кладбища и людей без прошлого. И понял, что мудрость и ученость разнятся между собой, как нравственность и знание статей Уголовного кодекса.

История не позволяет человеку остаться варваром, даже если он сделался крупнейшим специалистом в области ультрасовременной науки. У нее для этого, по крайней мере, два спасительных аргумента: во-первых, все уже было, а во-вторых, знания не делают человека умнее, несмотря на всю их ослепительную новизну. Некий усредненный современник наш знает сегодня несравненно больше, чем знали образованнейшие люди сто лет назад, но означает ли это, что усредненный современник наш стал умнее Герцена лишь оттого, что его мозг хранит бездну необязательной информации? Так история — я уж не говорю о ее нравственном воздействии — спасает нас от спесивой самоуверенности полужнаительства.

История разлита во времени и в пространстве. Извлечь ее из времени могут только знания, а вот ощутить ее дыхание в пространстве можно и не обладая ими. Есть счастливые города, где дышит историей каждый камень, и счастливые камни, сконцентрировавшие в себе историю. Камни Смоленской крепости, кривая Варяжская улица древнего города, само название его, старый дуб на Покровской горе, Гнездовские курганы и воздух Смоленска питали меня историей, и я чувствовал ее и любил, еще не ведая, что это — богиня, а не только наука.

Никольская улица, уже тогда переименованная в улицу Декабристов, упиралась в Никольские ворота крепости. И над этими воротами в выбоине стены лежало ржавое французское ядро. Лежало не музейным экспонатом, не туристским сувениром Суздаля — лежало боевым документом прошлого: так, как упало, и в том месте, где встретила стена выстрел наполеоновского артиллериста.

В городском парке — старом Лопатинском саду моего детства — до войны сохранялись мощные руины средневековой темницы с остатками

решеток толщиной в детскую руку. Когда-то в ней томились генеральный судья Сечи Запорожской Василий Кочубей со своим верным Искрой, несчастный царевич Иоанн Антонович — «Железная маска» русской истории, пленные поляки при Екатерине Второй. На каменной плите подоконника неровными буквами выбил свое имя несчастный узник...

...Так я написал, и так было напечатано в журнале «Юность» № 6 за 1982 год. Я получил множество писем, и в одном из них (в письме Владимира Алексеевича Борисюка, тоже смолянина) содержалось любопытное продолжение этого абзаца:

«...на нем (на подоконнике темницы. — Б. В.) было выцарапано: «КАБОГРАЛЛО». Абракадабра?.. Многие ломали головы. Однако кто-то расшифровал (или — знал), оказывается — аббревиатура:

КА — Капитолина

БО — Борис

ГР — Григорий

АЛ — Александр

ЛО — Лопатины — дети губернатора Лопатина, устроителя сада!..»

Вы и сейчас можете погулять по Блонью — так называется сквер в центре города. Блонье... болонье... заболонь... Да, «заболонье», то есть наиболее укрытое место крепости, куда не долетали стрелы штурмующих и где прятались женщины и дети во время осад города.

При впадении Смядыни в Днепр изменник-повар по повелению Святополка Окаянного зарезал юного князя Муромского Глеба, брата Бориса. Оба брата стали первыми русскими святыми, а Смядынь — это окраина Смоленска.

Как-то еще в школе я составил список знаменитых своих земляков, ставших украшением русской истории. Не буду приводить его полностью, но хочу напомнить, что Твардовский и Тухачевский, Глинка и Пржевальский, князь Потемкин и адмирал Нахимов, Исаковский и Коненков — смоляне.

В июне 1936 года городские власти решили осушить остатки крепостного рва подле Молоховских ворот. Тогда это была огромная гниющая лужа; когда спустили воду и осела муть, полутораметровый слой вонючего ила оказался битком набитым холодным и огнестрельным оружием. Здесь перемешались все эпохи, и рядом с татарской саблей мирно сосуществовал палаш начала века, а пулеметная лента лежала подле дуэльного пистолета. Чудо объяснялось просто: донная грязь сохранила не

только оружие некогда штурмовавших крепость воинов, но и то, которое бросали в топь темными ночами гражданской войны, не желая сдавать властям.

Первыми о кладе, естественно, узнали мальчишки. Оружейный Клондайк ожил: десятки невероятно грязных Томов Сойеров искали свое сокровище. Нас кусали какие-то зловредные жуки, к нам присасывались пиявки, но оторвать нас от поисков было невозможно, пока за это дело не взялась милиция, а случилось это лишь на третий день. Мне досталась русская бердана без приклада, австрийский штык, сломанная офицерская сабля, почти целая пулеметная лента и великое множество самых разнообразных патронов — для винтовок, револьверов, пистолетов. Другим повезло кому больше, кому меньше, — не в этом дело. Важно, что мы сами производили раскопки, отчетливо ощущая не денежную, а неуловимую историческую ценность находок. И это тоже было прекрасным уроком истории.

...Человек живет для себя только в детстве. Только в детстве он счастлив своим счастьем и сыт, набив собственный животик. Только в детстве он беспредельно искренен и беспредельно свободен. Только в детстве все гениальны и все красивы, все естественны, как природа, и, как природа, лишены тревог. Все — только в детстве, и поэтому мы так тянемся к нему, постарев, даже если оно было жестким, как солдатская шинель.

— Нет уже тех деревьев, под которыми ухаживал мой отец, — с тоскливой горечью поведал мне как-то один старый человек.

Нет уже тех деревьев, ибо «ВСЕ ПРОХОДИТ», как было написано на перстне царя Соломона. Все — кроме детства. Оно остается в нас пожизненно, потому что если «КТО ТЫ?» — плод взрослой твоей ипостаси, то «КАКОЙ ТЫ?» — творение детства твоего. Ибо корни твои в той земле, по которой ты ползал.

Я везу с ярмарки сокровище, которое не снилось ни королям, ни пиратам. И бережно перебираю золотые слитки воспоминаний о тех, кто одарил меня детством и согрел меня собственным сердцем...

Я не должен был появиться на свет. Я был приговорен, еще не начав жить, родными, близкими, знакомыми и всеми медицинскими светилами города Смоленска. Чахотка, сжигавшая маму, вступила в последнюю стадию, мамины дни были сочтены, и все тихо и твердо настаивали на немедленном прекращении беременности.

А меня так ждали! Войны вырывали мужчин из женских объятий, а в краткие мгновения, когда мужчины возвращались, ожесточение, опасности и стрельба за окном мешали любви и нежности: между мужчиной и женщиной лежал меч, как между Тристаном и Изольдой. Дети рождались неохотно, потому что мужчины не оставались до утра, и женщины робко плакали, провожая их в стылую темень. А смерть меняла одежды куда чаще, чем самая модная модница, прикидываясь сегодня тифом, завтра — случайной пулей, послезавтра — оспой или расстрелом по ошибке. И на все нужны были силы, и на все их хватало. На все — кроме детей. И я забрезжил как долгожданный рассвет после девятилетней ночи.

А маму сжигала чахотка.

И меня и маму спас один совет. Он был дан тихим голосом и больше походил на просьбу:

— Рожайте, Эля. Роды — великое чудо. Может быть, самое великое из всех чудес.

Через семь лет после этих негромких слов доктор Янсен погиб. Была глухая дождливая осень, серое небо прижалось к земле, и горизонт съезжился до размеров переполненного людьми кладбища. Мы с мамой стояли на коленях в холодной грязи, и моя неверующая матушка, дочь принципиального атеиста и легкомысленной язычницы, жена красного командира и большевика, истово молилась, при каждом поклоне падая лбом в мокрую могилыгую землю. И вокруг, всюду, по всему кладбищу, стояли на коленях простоволосые женщины, дети и мужчины, молясь разным богам на разных языках. А у открытого гроба стоял инвалид — краснознаменец Родион Петров и размахивал единственной рукой с зажатой в кулаке кепкой.

— Вот, прощаемся. Прощаемся. Не будет у нас больше доктора Янсена, смоляне, земляки, родные вы мои. Может, ученых будут, может, умней, а только Янсена не будет. Не будет Янсена...

...О, как я жалею, что я — не живописец! Я бы непременно написал серое небо, и мокрое кладбище, и свежевырытую могилу, и калеку-краснознаменца. И — женщин: в черном, на коленях. Православных и католичек, иудеек и мусульманок, лютеранок и староверок, истово религиозных и неистово неверующих — всех, молящихся за упокой души и вечное блаженство не отмеченного ни званиями, ни степенями, ни наградами провинциального доктора Янсена...

Я уже смутно помню этого сутулого худощавого человека, всю жизнь

представлявшегося мне стариком. Опираясь о большой зонт, он неумоимо от зари до зари шагал по обширнейшему участку, куда входила и неряшливо застроенная Покровская гора. Это был район бедноты, сюда не ездили извозчики, да у доктора Янсена на них и денег-то не было. А были неумоимые ноги, великое терпение и долг. Неоплатный долг интеллигента перед своим народом. И доктор бродил по доброй четверти губернского города Смоленска без выходных и без праздников, потому что болезни тоже не знали ни праздников, ни выходных, а доктор Янсен сражался за людские жизни. Зимой и летом, в слякоть и вьюгу, днем и ночью.

Доктор Янсен смотрел на часы, только когда считал пульс, торопился только к больному и никогда не спешил от него, не отказываясь от морковного чая или чашки цикория, неторопливо и обстоятельно объяснял, как следует ухаживать за больным, и при этом никогда не опаздывал. У входа в дом он долго отряхивал с себя пыль, снег или капли дождя — смотря по сезону, — а войдя, направлялся к печке. Старательно грея гибкие длинные ласковые пальцы, тихо расспрашивал, как началась болезнь, на что жалуется больной и какие меры принимали домашние. И шел к больному, только хорошо прогрев руки. Его прикосновения всегда были приятны, и я до сих пор помню их всей своей кожей.

Врачебный и человеческий авторитет доктора Янсена был выше, чем можно себе вообразить в наше время. Уже прожив жизнь, я смею утверждать, что подобные авторитеты возникают стихийно, сами собой кристаллизуясь в насыщенном растворе людской благодарности. Они достаются людям, которые обладают редчайшим даром жить не для себя, думать не о себе, заботиться не о себе, никогда никого не обманывать и всегда говорить правду, как бы горька она ни была. Такие люди перестают быть только специалистами: людская благодарная молва приписывает им мудрость, граничащую со святостью. И доктор Янсен не избежал этого: у него спрашивали, выдавать ли дочь замуж, покупать ли дом, продавать ли дрова, резать ли козу, мириться ли с женой... Господи, о чем его только не спрашивали! Я не знаю, какой совет давал доктор в каждом отдельном случае, но всех известных ему детей кормили по утрам одинаково: кашами, молоком и черным хлебом. Правда, молоко было иным. Равно как хлеб, вода и детство.

Святость требует мученичества — это не теологический постулат, а логика жизни: человек, при жизни возведенный в ранг святого, уже не волен в своей смерти, если, конечно, этот ореол святости не создан искусственным освещением. Доктор Янсен был святым города Смоленска, а потому и обреченным на особую, мученическую смерть. Нет, не он искал

героическую гибель, а героическая гибель искала его. Тихого, аккуратного, очень скромного и немолодого латыша с самой человеческой и мирной из всех профессий.

Доктор Янсен задохнулся в канализационном колодце, спасая детей. Он знал, что у него мало шансов выбраться оттуда, но не терял времени на подсчет. Внизу были дети, и этим было подсчитано все.

В те времена центр города уже имел канализацию, которая постоянно рвалась, и тогда рылись глубокие колодцы. Над колодцами устанавливался ворот с бадьей, которой откачивали просочившиеся сточные воды. Процедура была длительной, рабочие в одну смену не управлялись, все замирало до утра, и тогда бадьей и воротом завладевали мы. Нет, не в одном катании — стремительном падении, стоя на бадье, и медленном подъеме из тьмы — таилась притягательная сила этого развлечения. Провал в преисподнюю, где нельзя дышать, где воздух перенасыщен метаном, напрямую был связан с недавним прошлым наших отцов, с их риском, их разговорами, их воспоминаниями. Наши отцы прошли не только гражданскую, но и мировую, «германскую» войну, где применялись реальные отравляющие вещества, газы, от которых гибли, слепли, сходили с ума их товарищи. Названия этих газов — хлор, фосген, хлорпикрин, иприт — присутствовали и в наших играх, и в разговорах взрослых, и в реальной опасности завтрашних революционных боев. И мы, сдерживая дыхание, с замирающим сердцем летели в смрадные дыры, как в газовую атаку.

Обычно на бадью становился один, а двое вертели ворот. Но однажды решили прокатиться вдвоем, и веревка оборвалась. Доктор Янсен появился, когда возле колодца металась двое пацанов. Отправив их за помощью, доктор тут же спустился в колодец, нашел уже потерявших сознание мальчишек, сумел вытащить одного и, не отдохнув, полез за вторым. Спустился, понял, что еще раз ему уже не подняться, привязал мальчика к обрывку веревки и потерял сознание. Мальчики пришли в себя быстро, но доктора Янсена спасти не удалось.

— Рожайте, Эля.

Так в вонючем колодце погиб последний святой города Смоленска, ценою своей жизни оплатив жизнь двух мальчиков, и меня потрясла не только его смерть, но и его похороны. Весь Смоленск от мала до велика хоронил своего Доктора.

— А дома у него — деревянный топчан и книги, — тихо сказала мама, когда мы вернулись с кладбища. — И больше ничего. Ничего!

В голосе ее звучало благоговение: она говорила о святом, а святость не

знает бедности.

Я возвращаюсь с ярмарки, а потому невольно думаю о смерти. Человек создан на столетия, если судить по огромной, ни с чем не сравнимой трате сил. Лев, убив антилопу, в сытой дреме отдыхает сутки. Могучий сохатый после часового боя с соперником полдня отстаивается в чащобе, судорожно поводя проваленными боками. Айтматовский Каранар год копил силы, чтобы буйствовать, неистовствовать и торжествовать полмесяца. Для человека подобные подвиги — блеск мгновения, за который он платит столь малой толикой своих запасов, что вообще не нуждается в отдыхе.

Цель зверя — прожить отпущенный природой срок. Сумма заложенной в нем энергии соотносима с этим сроком, и живое существо тратит не столько, сколько хочется, а столько, сколько надо, будто в нем предусмотрено некое дозирующее устройство: зверю неведомо желание, он существует по закону необходимости. Не потому ли звери и не подозревают, что жизнь конечна?

Жизнь зверя — это время от рождения до смерти: звери живут во времени абсолютном, не ведая, что есть и время относительное. В этом относительном времени может существовать только человек, и поэтому жизнь его никогда не укладывается в даты на могильной плите. Она больше, она вмещает в себя ведомые только ему секунды, которые тянулись как часы, и сутки, пролетевшие словно мгновения. И чем выше духовная структура человека, тем больше у него возможностей жить не только в абсолютном, но и в относительном времени, и для меня глобальной сверхзадачей искусства и является его способность продлевать человеческую жизнь, насыщать ее смыслом, учить людей активно существовать и во времени относительном, то есть сомневаться, чувствовать и страдать.

Это — о духовности, но и в обычной, физической жизни человеку отпущено «горючего» заведомо больше, чем нужно для того, чтобы прожить по законам природы. Зачем? С какой целью? Ведь в природе все разумно, все выверено, испытано миллионолетиями, и даже аппендикс, как выяснилось, для чего-то все-таки нужен. А огромный, многократно превышающий потребности запас энергии для чего дан человеку?

Я задал этот вопрос в 5-м или 6-м классе, когда добрал до элементарной физики, и решил, что она объясняет все. И она действительно все мне тогда объяснила, кроме человека. А его объяснить не смогла: именно здесь кончалась прямолинейная логика знания и начиналась пугающе многовариантная логика понимания. Я тогда,

разумеется, этого не представлял, однако энергетический баланс не сходиллся, и я спросил отца, зачем-де человеку столько отпущено.

— Для работы.

— Понятно, — сказал я, ничего не понял, но не стал расспрашивать.

Это свойство — соглашаться с собеседником не тогда, когда все понял, а когда ничего не понял, — видимо, заложено во мне от природы. Житейски оно мне всегда мешало, ибо я не вылезал из троек, сочиняя свои теории, гипотезы, а зачастую и законы. Но одна благодатная сторона в этой странности все же была: я запоминал, не понимая, и сам докапывался до ответов. Сейчас уже не столь важно, что чаще всего ответ был неверным: жизнь требует от человека не ответов, а желания искать их.

Я пишу об этом только ради двух слов отца, определивших для меня весь смысл существо-вания. Это стало главной заповедью, символом веры, альфой и омегой моего мировоззрения. И стал я писателем, вероятно, совсем не потому, что рожден был с таким блеском в очах, а потому лишь, что свято веровал в необходимость упорного, ежедневного, исступленного труда.

Пояснив однажды смысл жизни, отец никогда более не возвращался к этой теме. Он восторгался закатом или мелодией, тишиной или книгой, человеческим поступком или человеческим гением искренне и безгрешно. Странно было видеть затянутого в кавалерийскую портупею, увешанного оружием командира, с юношеским пылом декламировавшего в центре Блонья:

Ты скажешь: ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила.

У красного командира, контуженного немцами и раненного белоказаками, восторженно горят глаза, а голос дрожит от сдерживаемых рыданий. Смешно? Вероятно, и смешно, и нелепо до крайности, но у слушателя — круглоголового, круглоглазого и круглоухого — бегут мурашки по коже. Пока — от чужого восторга перед всемогуществом человека, завтра — от собственного. Важно посеять этот восторг. Найти время, чистое сердце и добрые семена.

А вот о необходимости труда, о его красоте, чудодейственной силе и магических свойствах не говорилось никогда. О работе болтают

бездельники: нормальные люди ее делают. Старатель-но, четко, аккуратно и скромно. Ведь работать, не крича о собственном трудовом рвении, столь же естественно, как есть не чавкая.

Порой мне с удивительной ясностью вспоминаются вечера моего раннего детства. Наша большая даже по тем временам семья — двое детей, мама, бабушка, тетя, ее дочь и кто-то еще — жила на паек отца и на его более чем скромную командирскую зарплату в тесном домике на Покровской горе, где ни у кого не было своей комнаты и никто, кроме меня, не спал в одиночестве. При домишке был огород, которым занимались все, потому что речь шла о хлебе насущном, и я знаю, как горят ладони, обожженные свежевypолотой травой, с того трепетного возраста, которому уступают места в метро даже мужчины.

Так вот, о вечерах. Осенних или зимних, с бесконечными сумерками и желтым кругом керосиновой лампы. Отец сапожничаёт, столярничает или слесарничает, восстанавливая и латая; мать и тетя тоже латают, штопают или перешивают; бабушка, как правило, тихо поскрипывает ручной мельницей, размалывая льняной или конопляный жмых, который добавляют в кулеш, оладьи или лепешки, потому что хлеба не хватает; сестры — Галя и Оля — попеременно читают вслух, а я играю тут же, стараясь не шуметь. Это обычный вечерний отдых, и никто из нас и не подозревает, что можно развалиться в кресле, вытянув ноги, и, ничем не утруждая ни единую клеточку собственного мозга, часами глядеть в полированный ящик на чужую жизнь, будто в замочную скважину. Для всех нас искусство — не только в процессе производства, но и в процессе потребления — серьезный, исстари особо уважаемый труд, и мы еще не представляем, что литературу можно воспринимать глазами, зевая, закусывая, выпивая, болтая с соседкой. Мы еще с благоговением воспринимаем СЛОВО, для нас еще не существует понятия «отдых» в смысле абсолютного безделья, и человек, который не трудится, заведомо воспринимается с отрицательным знаком, если он здоров и психически полноценен.

В «Толковом словаре» Даля нет существительного «отдых», есть лишь глагол «отдыхать». И это понятно: для народа, тяжким трудом взыскующего хлеб свой, отдых был чем-то промежуточным, сугубо второстепенным и несущественным. Отдых для русского человека — равно крестьянина или интеллигента — всегда выражался в смене деятельности в полном соответствии с научным его пониманием.

Когда же он превратился в самоцель? В пустое времяпрепровождение, ничегонеделание, в полудрему под солнцем? Мы и не заметили, как отдых

стал занимать неправомерно много места в наших разговорах, планах и, главное, интересах. В нашем сознании «труд» и «отдых» как бы поменялись местами: мы работаем для того, чтобы отдыхать, а не отдыхаем, чтобы работать. И я не удивлюсь, коль в новом «Толковом словаре» «труд» перестанет быть существительным, а вместо него останется глагол «трудиться». «Трудиться» — заниматься каким-либо трудом с целью заработать денег на «отдых» (см.)».

Я столь запальчиво пишу об этом повальном бедствии нашем, потому что с детства был приучен глубоко презирать две язвы человеческого общества: идеализацию безделья и натужную, потную, лакейскую жажду приобретательства. Я понимаю, что неприлично ссылаться на собственную семью, но ведь я еду с ярмарки, а потому хочу низко поклониться тем, кто посеял во мне нетерпимость.

Я вырос в семье, где господствовал рациональный аскетизм: посуда — это то, из чего едят и пьют, мебель — на чем сидят или спят, одежда — для тепла, а дом — чтобы в нем жить, и ни для чего более. Любимым присловьем моего отца было:

— Не то важно, из чего пьешь, а то — с кем пьешь.

Из этого вовсе не следует, что отец «закладывал за воротник»: он не чурался рюмочки, но до войны — только по праздникам, а после оной — еще и по воскресеньям. Он был беспредельно жизнелюбив и столь же беспредельно гостеприимен, но глагол «пить» подразумевал для него существительное «чай». Хорошо, если с мамиными пирогами, но пироги случались не часто.

Принцип рационального аскетизма предполагает наличие необходимого и отсутствие того, без чего спокойно можно обойтись. Правда, одно «излишество» у нас все же было: книги. Отца часто переводили с места на место, и мы привыкли собираться. Все переезды, как правило, совершались внезапно, громом среди ясного неба. Отец приходил со службы, как обычно, и не с порога, не вдруг, а сняв сапоги, ремни и оружие, умывшись и сев за стол, припоминал, точно мимоходом:

— Да, меня переводят. Выезжаем послезавтра.

И начинались сборы, лишенные лихорадочной суматохи, потому что каждый знал, что делать. Мне, например, полагалось укладывать книги. Возникла эта особая ответственность, когда я был ростом с ящик, но и тогда никто не проверял моей работы: родители старомодно считали, что недоверие унижает человеческую личность.

Это-то я теперь понял, что они так считали, а тогда, крихтя и сопя —

фолианты встречались! — осторожно снимал книги с полок, волок их к ящикам и старательно укладывал ряд за рядом. И дело даже не в том, что мне доверяли упаковывать единственную ценность не только нашей семьи, но и вообще всего человечества, как я тогда сообразил, — дело в том, что я физически, до пота и ломоты в неокрепших мускулах ощущал эту великую ценность. Я по детскому, первому, а следовательно, и самому прочному опыту узнал, сколь весом человеческий труд, завещанный людям на века. И, становясь перед книгами на колени — иначе ведь не упакуешь, — я еще бессознательно, еще не понимая, но уже чувствуя, становился на колени перед светлыми гениями всех времен и народов.

...Кажется, я так и остался стоять на коленях перед ЛИТЕРАТУРОЙ. И сейчас, возвращаясь с ярмарки, горжусь, что меня хватило на это при всех несуразностях и печалях бытия.

Менее чем за год до кончины отец совершил традиционное путешествие в гости к старому другу. Друг жил в Гороховце под Горьким, и отец каждое лето отправлялся к нему за четыреста с лишним километров на личном транспорте: на велосипеде.

Совсем недавно — шестидесятые годы. В полном разгаре яростная борьба за престижность. Уже полушубки покупаются не для того, чтобы было тепло, а для того, чтобы было «как у людей». Уже на владельца мотоцикла смотрят с ироническим соболезнаванием, уже с первых петухов занимают очередь за золотишком; уже пудами скупают книги; уже... Представьте же, а представив, вообразите, как навстречу этому потоку в кителе без погон, полотняной фуражке и сапогах невозмутимо едет на велосипеде участник четырех войн. Неторопливо крутит педали и едет. Навстречу. Не шоссейному движению, а мещанской суете. Вопреки — так, пожалуй, будет точнее.

...Я перестаю писать, потому что слезы мешают видеть. Не умиления слезы, не печали — гордости за дух человеческий. С какой спокойной мудростью отец не замечал холуйского стремления «достать», «добыть», «купить», «продать», а если суммировать — «чтобы как у людей». Чтоб жена в кольцах и дочь в дубленке, чтоб «сам» в машине, а дом — в книгах, которые никто не раскрывает. И какой же надо обладать душой, чтобы выдержать чудовищное давление пресса, имя которому — «как все»!

Я рос на улицах Смоленска куда интенсивнее, чем дома. Как только мы

перебрались с Покровской горы в центр, так покой садов, дворов, пустых сараев и ничейных оврагов, на которых мирно паслись козы, сменился мощным двором, с трех сторон замкнутым зданием, а с четвертой — системой бесконечных сараев. А шелест деревьев, кудахтанье кур и нервные вопли коз — грохотом ошипованных колес, топотом копыт, скрипом, стуками, отдельными трамвайными звонками и клаксонами редких автомашин. В миниатюре я как бы переехал из усадьбы в столицу, шагнув из деревенской поэзии в трезвую городскую прозу.

Основным транспортом были тогда ломовики. Лошади, лошади, лошади — сквозь все детство мое прошли лошадиные морды и лошадиные крупы, лошадиный храп и ржание, лошадиная преданность работе и лошадиные страдания на обледенелых кручах. Сотни лошадей летом и зимой сновали по всему городу, и город звенел от воробьиного чириканья: их кормили лошади, щедро рассыпая овес, и те времена были золотым веком воробьиного племени. Впрочем, лошадиного тоже, потому что я не могу припомнить, чтобы грубый — в фольклор вошедший грубостью своей! — ломовой извозчик не поделился бы со своей лошастью ломтем хлеба с солью. Даже когда бывал безнадежно пьян, ибо пили они тоже «как ломовые».

...Через десять лет — в октябре сорок первого — судьба вновь свела меня с лошадьми. Я выбрался из последнего своего окружения и попал в кавалерийскую полковую школу. Мне досталась аккуратная гнедая Азиатка, чуткая в поводе и легкая в прыжках. Каждое утро она ласково тыкалась бархатными губами в ладонь, а получив кусок хлеба с солью, благодарно толкала мордой в плечо и вздыхала. Я учился на ней скакать, вольтижировать, брать препятствия, рубить лозу и стрелять с седла, она всегда была послушна, и я очень к ней привязался. И как-то раз, в конце октября, что ли, мы занимались в открытом манеже.

— Завязать повод всем, кроме головного! Подтянуть стремяна! Руки назад! Учебной рысью... ма-арш!..

Мы тряслись по кругу, вырабатывая нелегкое кавалерийское умение управлять лошастью с помощью одних шенкелей, когда послышался гул моторов и дежурный завопил: «Воздух!..»

Мы еще только разводили лошадей по станкам, когда «юнкерсы» пошли на бомбежку. Вой и грохот накатывались все ближе, а когда я, держа под уздцы Азиатку, бегом миновал ворота конюшни, раздался удар, на меня посыпалась труха, что-то с силой толкнуло в спину, а моя смирная лошадка вдруг понеслась по проходу, волоча меня на поводу. У денника я вскочил,

как-то сдержал лошадь, а когда привязал и оглянулся, то увидел, что осколки выворотили у моей Азиатки добрых три ребра...

Когда закончился налет, мы вшестером, поддерживая с двух сторон, вывели лошадь и уложили на старую попону. Командир эскадрона — злой казачий капитан, послав немцев замысловато и многоэтажно, протянул наган, а я замахал руками: «Нет!..»

— Живо дер ты, а не казак! — заорал капитан. — Немедля пристрели кобылу! Милосердие другу окажи, мать твою...

В те времена — как это странно писать, а ведь это так и есть! — так вот, в те давно прошедшие времена любая животина была необходима человеку как помощник в нелегкой борьбе за существование. Помощниками были лошади и коровы, овцы и козы, собаки и даже кошки, ибо в домах копошилось множество мышей, перед которыми женщины всего мира испытывают мистический ужас. Содержание животного для развлечения расценивалось резко неодобрительно, и по завышенным меркам тогдашней нравственности это было справедливо: в стране не хватало еды, и дети зачастую голодали страшнее бездомных собак. Но к своим помощникам, к тем, кто трудился рядом, человек относился со справедливой добротой, с детства привыкая делить с ними кусок хлеба. И животные облагораживали человека, делая его не просто добреньким, но требовательным, как к себе самому. И не было того массового умильного восторга перед, скажем, собакой, положение которой резко ухудшилось, несмотря на все внешние признаки обратного. Ухудшилось потому, что собака, перестав быть членом трудового коллектива, превратилась в игрушку, и судьба ее ныне зависит не от ее старания, а от каприза хозяина.

Я начал рассказ о ломовых извозчиках, потому что в детстве не существовало большего удовольствия, чем катание. Правда, почему-то только зимой: сани мягко скользили по укатанно-му снегу, морозный ветер охлаждал лицо, радостно фыркала лошадь, и жизнь и ощущалась, и в самом деле была праздником. С середины марта снизу, с Днепра, шли бесконечные обозы: везли укрытые рогожами ледяные глыбы, выпиленные из речного льда. Их доставляли на городские холодильники, льда требовалось много, смоленские горы были круты, и битюги, оскользаясь, волокли нагруженные платформы в гору, а вниз шли порожняком. И вот тут-то и следовало догнать сани и вскочить на ходу, но непременно спиной, чтобы кнут пришелся бы по пальтишку. Кнуты посвистывали, но куда чаще мы катили вниз в полном согласии с хозяином. Обратно, в гору,

прицепиться было сложнее, но и тогда находился кто-либо, понимавший мальчишескую страсть. Кроме ломовых существовали и легковые пролетки, и санки, и крестьянские розвальни, и лесовозные роспуски, но ломовик был более массовым и более демократичным, и мы предпочитали его.

А автомашин было мало. Мы знали их наперечет, но я особо следил за желтой легковой, которая гонялась за мной довольно долго. Не знаю, кому она принадлежала, потому что мне тогда везло, и я вовремя уносил ноги. А преследовала она меня из-за того, что я однажды кинул палку ей под колеса: интересно же, как палка сломается, правда? Вот я и кинул, но не рассчитал, и палка треснула шофера по голове, поскольку машина была открытой. Он невероятно оскорбился и долго пытался мне отомстить, но, повторяю, я замечал его первым. А вскоре произошло совершенно невероятное событие.

В самом начале тридцатых годов штаб, в котором служил отец, начал менять автопарк, списав в утиль старые машины. Но отец предложил не выбрасывать это старье, а отремонтировать и на его базе создать клуб любителей автодела, как это тогда называлось. Отца поняли, поддержали и... и отдали в его распоряжение три списанных машины и бывший каретный сарай. Он размещался напротив нового стадиона, что был устроен на бывшем плацу возле Лопатинско-го сада и где стоял чугунный памятник-часовня героям 1812 года, а по бокам его — две бронзовые пушки, с которых я смотрел первые в своей жизни футбольные матчи.

Три автомобиля: грузовой «уайт», столь же древний «бенц» и знаменитая русская легковая машина «русо-балт». Каждая машина отличалась не только маркой и назначением, но имела и свои индивидуальные особенности. Я излазил их вдоль и поперек, постоянно торчал в гараже, подсказывал на экзаменах бойцам-автолюбителям, помогал отцу как мог и чем мог и сейчас хочу вспомнить хотя бы о грузовичках.

«Уайт» имел грузошины. То есть не обычный баллон (камера и покрышка), а металлический обод, облитый сплошной резиной. Вследствие этого летом на нем немилосердно трясло, а зимой он скользил, буксовал и терял управление на всех горках, а поскольку в Смоленске были одни горки, то зимой отец пользовался им редко. Кроме того, «уайт» имел настолько низкие борта, что отец сажал людей на пол, а там трясло совсем уж немыслимо. Кабины у него не было, сиденье было жестким, а руль располагался точно посередине. Однако отец почему-то именно на нем чаще всего обучал своих бойцов.

Насколько «уайт» представлялся несуразно длинным, настолько «бенц» казался несуразно коротким. У него была цепная передача, а так как тормоза располагались на карданном валу, то в случае обрыва цепи машина делалась абсолютно неуправляемой. Это было особенно пикантно, если взять во внимание крутые, длинные и кривые смоленские горы. Кроме того, «бенц» имел еще и конусное сцепление, которое часто слипалось, и тогда мы либо пилили на уже включенной передаче, либо отец глушил мотор и лез под машину расцеплять не желавшее расцепляться. Это случалось куда чаще, чем можно вообразить: грузовичок вел себя с капризами живого существа.

Но самым оригинальным был его сигнал. Он проживал отдельно от машины и представлял собой маленькую сирену с ручкой, напоминающей водопроводный вентиль, который надо было вращать как можно быстрее. Естественно, тот, кто сидел за рулем, не мог этим заниматься, и сирена вручалась пассажиру. А поскольку смоляне ходили как хотели, когда хотели и куда хотели, то наша сирена все время судорожно подвывала, и мальчишки со всего города безошибочно определяли:

— Борькин папка на драндулете шпарит!

Сложнее всего оказывалось, когда роль сигнальщика доставалась маме. Она была человеком, мягко говоря, взнервленным, легко выходила из равновесия, боялась машины, норовила держаться двумя руками, и вертеть сирену оказывалось нечем. А люди блуждали под колесами, несмотря на устрашающий грохот нашего «бенца», и тогда мама кричала во всю мощь своих слабеньких легких:

— Гражданочка! Мадам! Товарищ! Пожалуйста! Оглянитесь!

Если при этом учесть, что сиденье «бенца» было пухлым от обилия нежнейших пружин, а смоленская мостовая — отнюдь не предназначенной для автомобильного движения, то можно вообразить, как выглядела эта езда. На каждом ухабе пассажиры взлетали выше кузова, рискуя опуститься в полнейшую неизвестность; отец при этом держался за руль, женщины — за свои юбки, а меня ловил тот, у кого была свободная рука. Словом, это были путешествия из раздела незабываемых.

Правда, если говорить начистоту, то отец куда чаще лежал под машинами, чем ездил на них. Это служило поводом для постоянных шуток, но отец разделял шутки в свой адрес и смеялся раньше всех. Он выпросил совершеннейший металлолом, который красноармейцы на руках перекатили из гаража при штабе в каретный сарай напротив стадиона. И можно представить, сколько сил затратил отец, чтобы вдохнуть жизнь в эти автотрупы. Но он никогда не бросал начатого, упорно веря, что все дело

лишь в желании да труде. И ему всегда хватало и труда и желания.

В нашем гараже не было электричества: глухой каземат без окон, цементный пол, верстак, ящик с песком и бочка с бензином. Дело в том, что бензоколонок тогда не существовало, бензин отцу отпускали по наряду оптом, и приходилось хранить его в гараже. И однажды мы чудом не взлетели.

Случилось это поздней осенью, и ворота были закрыты. На верстаке горел фонарь «летучая мышь», отец лежал под «бенцем», подстелив войлочную кошму, и регулировал пресловутое конусное сцепление. А я курсировал между верстаком и машиной, подавая требуемые инструменты, и громко распевал песни. У меня никогда не было ни слуха, ни голоса, но была — и есть по сей день — потребность петь во все горло. И я орал песню, которая гулко раздавалась под кирпичными сводами, и тут погас фонарь. В этот момент я подавал отцу очередной ключ, и он сказал:

— Спички над верстаком, на полочке. Сможешь сам зажечь?

— Смогу, — ответил я и наступил на керосиновую лампу, которая стояла на кошме, освещая отцу объект регулировки.

Раздался хруст, стало темно, а потом по кошме побежали огненные ручейки. Я заорал еще громче, ощутив вдруг прилив необъяснимого восторга. И сквозь ор еле расслышал треск и напряженный, но спокойный отцовский голос:

— Открой ворота и уходи. Открой ворота и уходи.

Как позднее выяснилось, отец рванулся из-под машины, как только я раздавил лампу. Но до этого он разъединил тяги и зацепился гимнастеркой за рычаг и, лежа, рвался из-под «бенца», не видя, как отцепиться. Пока я в неверном свете начинающегося пожара искал запоры ворот и открывал тяжеленные створки, а отец, разодрав до горла гимнастерку, сорвался с рычага и выкатился на волю, занялась бочка с бензином. Помню, что вспыхнула она вдруг ярким пламенем, а я еще только распахивал ворота. Бочка была огромной, отец не мог повалить ее и раскачивал с канта на кант; бензин выплескивался, на отце горели обрывки гимнастерки и — руки. Конечно, это горел бензин, который выплескивался на руки, но я и сейчас помню бегающие голубоватые язычки пламени на его ладонях. Наконец он повалил ее, крикнул, чтобы я спрятался в дальнем углу, и спешно покатил горящую бочку во двор. Там она и рванула, как хорошая бомба, но отец за миг до взрыва умудрился упасть за угол дома, и во дворе никто не пострадал, хотя почти все квартиры лишились стекол.

— Шляпа! — сказал отец, загасив остатки пожара.

Это было самое страшное его ругательство. Впрочем, и единственное:

значение определялось интонацией. Что и говорить, отец мой был мастак ругаться...

Каждый год летом мы уезжали из города, хотя тихий Смоленск мало отличался от деревни: ну, пыли в нем было побольше. И все же ездили — думаю, срабатывала привычка — сперва в Высокое, потом — снимая где-либо что-либо. Мама любила Вонлярово, и отец в майские праздники — это были едва ли не единственные гарантированные свободные дни для командиров — отправлялся договариваться. И было три машины в его полном и бесконтрольном владении, а мы поехали на велосипеде. И помню разговор накануне:

— Я не могу, Эля, не имею права. Вот когда будем переезжать, тогда пойду в штаб и попрошу разрешения.

— Я не пущу с тобой Бориса!

— А ему-то не все равно, на чем ехать?

И я поехал на отце. А сколько отцов не выдерживало, не выдерживает и еще не выдержит искуса и повезет отпрыска на казенной машине в возрасте, когда запоминаются факты и забываются причины, когда еще только формируются «можно» и «нельзя», когда гордый взгляд из машины равнозначен праву на эту машину и порой способен погубить душу на веки вечные. И это особенно касается мальчишек, ибо если женщинами рождаются, то мужчинами становятся.

...Закройте глаза и представьте: по современному шоссе, забитому «Жигулями» и «Запорож-цами», «Москвичами» и «Волгами», неторопливо работая педалями, едет старый человек в офицерском кителе без погон, сапогах и белой полотняной фуражке. Ему за семьдесят, у него отрублен палец на левой руке, отравлены газами легкие и прострелено плечо. А он — едет. Навстречу потоку.

Вопреки...

В Вонлярово можно было проехать большаком, можно — по Московскому шоссе, но отец избрал третий путь. Не нужно усматривать в этом стремление к оригинальничанию — он вообще был лишен его начисто, — а вот стремление к расширению моего горизонта у него было всегда. И мы поехали по тропинке, что вела вдоль железнодорожного полотна. Она была утоптана до бетонной твердости, и ехать было приятно. Я сидел на раме и держался за руль, а отец неспешно вертел педали, и мы катили. По ровному и под гору, а в гору шли пешком, и тогда начинались разговоры обо всем и ни о чем — именно так разговаривают во всем мире с детьми, а со взрослыми — только в России. Но дело даже не в

разговорах, — в конце концов, разговоры одинаковы у всего детства, — дело в дороге. В том третьем пути, который мы с отцом прошли туда и обратно, измерив его не временем, проведенным в поезде, не спидометром автомашины, — измерив собственными ногами, собственной скоростью и собственным временем; поняв, что под горку ты отдыхаешь, а в гору — задыхаешься; ощутив, сколько твоих личных шагов укладывается в общем километре, и оценив, что такое отдых, глоток воды и кусок хлеба из отцовских рук. И мне порой кажется, что все те объяснения — что машины не его, что бензин не его, что... — были затеяны отцом с единственной целью: показать, что путь между двумя точками не всегда полезно соединять беспощадной прямой...

Я пишу о своей семье и своем детстве потому, что все, чем я обладаю, — оттуда. Конечно, я идеализирую и свое детство, и свою семью, но идеализировать своих родителей куда естественнее, чем строго реалистически подсчитывать их недостатки. Но поскольку рос я не только дома, я не могу забыть того, с чем, к счастью, незнакомы идущие вослед.

Я был счастливчиком: отец получал комсоставский паек и два раза в неделю — обед для семьи. То есть для мамы, Гали и меня, но ведь были бабушка, Оля, тетя Таня, кто-то еще. И все равно я был счастливчиком, и мне завидовали. С той поры я никогда не ем на улице: боюсь снова увидеть взгляд из тех, тридцатых годов. До ужаса боюсь.

Я стараюсь отвлечься от сегодняшних лиц и вспоминаю лица своих сверстников тех дней. Время размыло их, но оно оказалось не в силах добавить красок в их смутные очертания. И я вижу дряблую старушечью кожу на ножках семилетних девочек, четкие — углем обводили для смеха! — ребра восьмилетних мальчишек, проваленные, точно растущие внутрь, щеки и у тех и у других и серьезные, пугающе серьезные глаза.

...Куда с таким недетским вниманием вглядывались мои друзья? В сытость завтрашнего дня? Она пришла, мы отъелись, заулыбались, запели веселые песни и... И пошли на фронт. И фашистские танки забуксовали на баррикаде из двадцати миллионов наших тел...

С какого-то времени — старею, что ли? — жизнь стала представляться мне горбатым мостом, переброшенным с берега родителей на берег детей. Сначала мы поднимаемся по этому мосту, задыхаясь в суете и не видя будущего; дойдя до середины, переводим дух, с надеждой вглядываясь в тот, противоположащий берег, и начинаем спускаться. И есть какая-то черта,

какая-то ступень на этом спуске, ниже которой ты уже не увидишь своего детства, потому что горбатый мост прожитой жизни перекроет твой обзор. Надо угадать эту точку, этот зенит собственных воспоминаний, потому что оглянуться необходимо: *там* спросят. На том берегу, где мы — только гости. Порою досадные, порою терпимые, порою засидевшиеся и всегда — незванные. Не потому, что дети отличаются невинной жестокостью, а потому, что старость только тогда имеет право на уважение, когда молодость нуждается в ее опыте...

Я родился на перекрестке двух эпох, и в этом мне повезло. Еще судорожно и тихо отходила в вечность Русь вчерашняя, а у ее одра неумело, а потому и чересчур громко уже хозяйничала Россия дня завтрашнего. Старые корни рубились со звонким восторгом, новое прорастало медленно. Россия уже отбыла от станции Вчера, еще не достигла станции Завтра и, судорожно громяхая разболтанными вагонами, испуганно вздрагивая на стыке дней своих, мчалась из пронизанной вспышками выстрелов ночи гражданской войны в алый рассвет завтрашнего дня. Наш паровоз летел вперед.

И еще ничего не успели разложить по полочкам, рассортировать и классифицировать. Все было в куче, как в зале ожидания: наивный максимализм и весомые червонцы нэпа; вера во Всемирную революцию и бешеная активность Союза Воинствующих Безбожников; еще свободу путали с волей, еще любой мог считать себя «согласным» или «несогласным», и в анкетах того времени существовала такая графа; в школах была отменена история, а на уроках литературы яростно спорили, стоит ли изучать крепостника Пушкина, и прочно выбросили из программ помещика Тургенева и путаника Достоевского.

Сейчас мне представляется, будто тогда мы наивно и хмельно играли в жмурки, ловя нечто очень нужное с завязанными глазами. И при этом смеялись, хлопали в ладоши, радовались — те, кто стоял вокруг. А те, кто метался в центре, — те не смеялись. Но мы ничего не замечали: нас распирало ощущение победного торжества.

В этой «игре» с завязанными глазами рушилась старая культура и создавалась новая. Отрицание прошлого и всего, что хоть чем-то напоминало об этом прошлом, было столь всеобщим, нетерпеливым и современным, что никому и в голову не могло прийти печалиться по поводу разрушаемой Триумфальной арки, снесенных по непонятной прихоти Молоховских ворот или взорванного храма Христа-Спасителя. Нет, кому-то конечно же приходило, кто-то страдал, а кто-то и действовал (ведь спасли

же, в конце концов, Триумфальную арку!), но это — в стороне от потока, от грома аплодисментов, рева труб, грохота барабанов и торжествующего звона песен: «Нам ли стоять на месте, в своих дерзаниях всегда мы правы...» Существует атмосфера праздника: мы выросли в климате праздника.

...А вам не кажется, что в праздники люди перестают думать? Вспоминать о потерях, горестях, нехватках, недостатках, болях, печалях? Ни о чем таком, естественно, не вспоминают в праздники, да и сами-то праздники, вероятно, возникли, когда люди вырывались из трудностей хотя бы на время. Но представьте, о чем думают на свадьбе, а о чем — на похоронах: какой простор для размышлений, не правда ли? И это закономерно: трагедия учит, а комедия поучает. Нет, я совсем не против праздников, они необходимы, как радость, но давайте все же помнить, что в праздники мы сентиментальнее, снисходительнее и глупее, чем в будни...

Мы спускаемся в жизнь с коня материнских колен.

Это — так. Но для чего? Чтобы вступить в бой или попросить пощады? Сорвать цветок для любимой или помочиться в родник? Заслонить собою друга или потискать девку?

Цель, ради которой мы спускаемся в жизнь с коня материнских колен, определяется отцами. Мать дарует нам силу и здоровье для этой отцовской цели, если мы — плод любви, а не потливой похоти. На этой взаимосвязи любви и долга доселе держится мир.

Без колебаний приняв Великую Октябрьскую революцию, мой отец был все же сыном отвергаемой культуры. Я уж не говорю о бабушке и маме — женщины вообще консервативнее, а ведь именно они создают тот особый дух семьи, который мы, однажды вкусив, носим в себе до последнего часа. И так было во всех семьях, инерционно стремившихся передать нам нравственность вчерашнего дня, тогда как улица — в самом широком смысле — уже победно несла нравственность дня завтрашнего. Но это не рвало нас на части, не сеяло дисгармонии, не порождало конфликтов: это двойное воздействие в конечном итоге и создало тот сплав, который так и не смогла пробить крупковская сталь.

Конечно, воспитывает не только внешняя и внутренняя среда, а сумма самых неожиданных и труднопредсказуемых влияний, сумма авторитетов семьи, двора, улицы, детских и взрослых коллективов. Воспитание не профессия, а призвание, талант, дар божий. И этим благородным божьим даром была щедро наделена моя бабушка. Легкомысленная, никогда не

унывающая фантазерка с детской душой, живостью и фигуркой девушки.

...Я сижу в большой комнате и, высунув от старания язык, раскрашиваю командирскими карандашами иллюстрации в пухлом комплекте «Нивы». Бабушка сидит рядом, курит длиннейшую махорочную самокрутку и раскладывает большой королевский пасьянс. Входит мама с плачем и пустой корзинкой.

— Беспризорники вырвали у меня весь наш хлеб!

Бабушка невозмутимо выпускает огромный клуб махорочного дыма (в ту пору еще не ведали, что курить вредно).

— Элечка, все трын-трава, испанский мох. Интересно, куда же мне девать девятку трэф?

— Твое легкомыслие, мама, переходит все границы. Мы не увидим хлеба до завтрашнего дня!

— Мы не увидим хлеба до завтрашнего дня, а сколько дней его не видели эти немые гавроши? Перестань лить слезы, Эля, и скажи, куда же мне девать эту несчастную девятку трэф?..

Это — бабушка.

Если выдвинуть на середину комнаты самую большую кровать, а на нее положить кверху ножками обеденный стол, то получится корабль. А если попросить бабушку стать королевой, то она через минуту войдет в комнату царственной походкой и с короной на голове.

— Кто ты, о чужеземец?

— Я родом из Генуи, ваше величество, и зовут меня Христофор Колумб...

И тут появляется незапланированная мама.

— Боже мой, что происходит?

— Я отправляю в великое плавание Христофора Колумба, Эля, — торжественно говорит Изабелла Испанская. — Только на таких каравеллах и можно открыть еще не открытые Америки.

Это — бабушка.

...— Эля, в Преображенской церкви дают керосин. Где наш бидон?

Исчезли керосин и сахар, крупы и постное масло, спички и соль. А хлеб стал выдаваться по карточкам. Прекрасный черный хлеб, от запаха которого у меня и сейчас перехватывает горло, тогда распределялся пайками (ударение на первом слоге). Пайка хлеба — полфунта. Двести граммов.

Бабушка берет бидон и идет стоять в длиннющей очереди. В очереди

еще полно «бывших» (ныне они официально именуются «лишенцами», поскольку лишены избирательного права), и бабушка отводит душу в воспоминаниях и французском языке.

О, эти очереди! Возникшие при царе как очереди за хлебом, вы упорно не желаете покидать многострадальную родину нашу уже как очереди за тем, «что дают». Начавшись в рабочих кварталах Петрограда, вы меняли свой социальный состав, пока окончательно не перетасовали граждан России. Какой поэт, какой прозаик возьмется описать знаменитое: «Кто последний, что дают?»...

Через два часа бабушка возвращается без керосина и даже без бидона.

— Эля, нам поразительно повезло. Поразительно! Я случайно встретила мадам Костантиади. Ты помнишь мадам Костантиади? Так представь себе, она служит в оперетте и завтра поведет Бореньку на «Фиалку Монмартра»!

— Зачем шестилетнему ребенку оперетка? Узнать «смотрите здесь, смотрите там»?

— Пусть он узнает куда смотреть через искусство, а не через уличные сплетни. Кроме того, с ним пойду я.

— А где бидон?

— Бидон? Какой бидон? Ах, с керосином? Я отдала его мадам Костантиади: представляешь, она уже месяц живет без света и примуса.

Это — бабушка.

...Мы сидим в центре Смоленска на Блонье. Я задаю бесконечные «почему», мешая бабушке насладиться французским романом. Чтобы я отвязался, она нарушает один из основополагающих законов нашего дома: ничего не есть на улице. Покупается мороженое в круглых вафлях, на которых отпечатано «БОРЯ». Мы — в сладостном предвкушении: я собираюсь заняться мороженым, бабушка — наконец-то вцепиться в роман. Я уже высовываю язык, слизывая растаявшую капельку с колючего ободка вафли, как вдруг рядом оказывается маленькая оборванная девочка. Черные глазки-бусинки с наивным восторгом не отрываются от мороженого. Я ревниво хмурюсь...

— Какая прелесть! — громко объявляет бабушка, оставив роман. — Так женщины смотрят на бриллианты. А как грациозно она стоит! Боже, боже, и ты еще чего-то ждешь, Боря? Немедленно отдай этой прекрасной незнакомке мороженое, если ты — настоящий мужчина!

Это — бабушка.

...Когда-то отец увлекался копированием картин, и в одной из комнат нашего домика на Покровской горе висели «Иван-царевич на сером волке», «Аленушка», «Богатыри», что-то еще. И вот зимними вечерами мы с бабушкой уходили в ту комнату. При этом бабушка оставляла дверь в большую комнату открытой, чтобы свет керосиновой лампы падал на какую-либо из отцовских копий. Мы усаживались перед нею и...

— Ранним утром три русских богатыря выехали на разведку, — приглушенно и заманчиво начинала бабушка. — Они ехали долго, и мягкий ковыль бесшумно стлался под копытами их коней...

И васнецовские богатыри оживали в мерцающем свете. Они скакали по степи, высматривали врага, сходились с ним в жестокой рубке. И свистели стрелы, звенели мечи, ржали кони, стонали раненые...

— Ты видишь, видишь, пятеро врагов напали на одного Алешу Поповича? — горячо, убежденно спрашивала бабушка. — Ох, как ему трудно сейчас! Держись, Алеша, держись!

— Алеша! — во весь голос кричали мы оба. — Держись, Алеша!..

В упоении мы вопили на весь дом, но никто ни разу не сказал бабушке, что она забивает голову ребенку какими-то бреднями. Наоборот, когда кончалось наше «кино» — а кончалось оно неизменно победой Добра, — я врывался в большую комнату и с порога начинал восторженно рассказывать, что я только что видел, все с живейшим интересом и совершенно серьезно расспрашивали меня о битве трех богатырей или о чудесном спасении царевны.

Это — бабушка.

...Мы живем в центре, а я учусь в 1-м классе 13-й образцовой школы имени Бубнова, что напротив часов. И как-то входит невероятно радостная бабушка:

— Эля, это чудо! Я устроилась билетершей в пятнадцатую синагогу!

Бабушка путала многое по легкомысленности, трогательно пронесенной ею сквозь все три революции, германскую и гражданскую войны, нэп, коллективизацию и начало первой пятилетки. В помещении бывшей синагоги ныне располагался театр, который смоляне называли Пятнадцатым. Вот с этого бабушкиного заявления и началось мое знакомство с кинематографом, поскольку кинотеатр оказался ближе, чем школа.

Каждое утро бабушка брала венский стул, клала в плетеную сумку очки и очередной растрепанный роман и отправлялась на работу. Впрочем, она не любила этого слова и всегда говорила, что «идет на службу». Так

вот, придя «на службу», бабушка распахивала настежь двери, ставила на пороге личный стул, надевала очки, сноровисто сворачивала сигарку из крепчайшей махры, доставала роман, прикуривала и... И тут следовало выждать, пока бабушка не исчезнет в парижских трущобах. Если момент угадывался точно, желающие должны были по возможности чинно миновать бабушку и раствориться в прохладном сумраке бывшей синагоги. Если же какой-либо недотепа слишком медлил или слишком торопился, бабушка строго смотрела на него поверх очков и укоризненно говорила:

— Пожалуйста, мальчик, не шумите. Вы мешаете читать.

Шли последние годы немного кино, и я знал о нем все. Я знал, какой фильм интересен, а какой — нет, какой актер играет превосходно, а кого постигла неудача, какую музыку следует исполнять при появлении батьки Махно, а какую — при сумасшествии Бейдемана. Я множество раз смотрел «Красных дьяволят», «Дворец и крепость», чей-то «Спартак» и чью-то «Куртизан-ку», какого-то «Наполеона», и неизвестно кем созданный боевик об англо-бурской войне, и сотни иных фильмов. Среди них плохих, естественно, было несравнимо больше, чем удачных, и вся эта киномакулатура не набила мне оскомины только потому, что я был приучен бабушкой относиться к кино как к импульсу для личного творчества, как к канве, на которой должна быть моя вышивка. Я не просто додумывал фильмы — я сочинял их заново, и поэтому любая ерунда вызывала во мне интерес. Удивительно, но это свойство воспринимать кино прежде всего как полуфабрикат — исключения, естественно, случаются — сохранилось до сей поры. Я и теперь с удовольствием пересказываю фильмы, но сколько раз пересказываю, столько вариантов и создаю, иначе мне просто неинтересно пересказывать, а зачастую и смотреть.

И все это — бабушка. Я мог бы вспоминать о ней бесконечно: она сама научила меня сочинять. Но я сочиняю на реальной основе, потому что бабушка была именно такова. Я лишь кое-что суммирую, чтобы проявить в родном мне характере черты определенного социального типа.

...Мама рассказывала, что бабушка, уже долгое время не узнававшая никого, перед самой кончиной открыла глаза, посмотрела на маму и строго спросила:

— Где Боря, Эля? Где мой Боря?

Шел март 1943 года, и я находился далеко от города Камень-на-Оби. Города, ставшего последней пристанью бабушкиного земного бытия...

Я пишу о многом и о многих, а о маме — сдержанно, и может создаться впечатление, что мне либо не хочется, либо нечего сказать о ней.

Но это не так, я много думаю о ней и помню постоянно: она умерла в Татьянин день, на десять лет пережив отца. Умерла не от чахотки, грозившей ей в расцвете ее лет: она обменяла меня на смерть, всю жизнь помнила об этом и почему-то очень боялась, что я застрелюсь. Не знаю, откуда возник этот страх, но он был, он мучил маму, пока она еще хоть что-то сознавала. Она дала мне не только жизнь, но и ее обостренное восприятие, оттененное думами о смерти, которые все чаще посещают меня. Она дала мне прекрасный пример любви, самоотречения и преданности... Она... да разве можно перечислить, что дает мать самому любимому из своих детей?!

По рассказам знаю, что где-то в конце девятнадцатого, после очередного ранения, на побывку прибыл отец. Он много выступал с беседами о положении на фронтах, в том числе и в госпитале, куда мама пошла его послушать. Раненые задавали множество вопросов, среди которых был и такой:

— Товарищ командир, а на что живет твоя молодая жена и малютка-дочь, когда ты на фронте проливаешь свою геройскую кровь за наше общее счастье? Обещания получает по иждивенческому талону? Долой! Предлагаю резолюцию...

Приняли резолюцию: «Обеспечить жене красного командира Елене Васильевой работу и трудовое питание при раненых геройских бойцах...» Но работой обеспечивали совсем не геройские раненые бойцы, а бывшие военные чиновники, криво усмехавшиеся при упоминании о красном командире. И маму обеспечили инфекционным бараком, а через месяц она заболела оспой. По счастью, она много раз делала прививки, болезнь прошла в легкой форме, оставив на очень красивом лице мамы несколько оспинок на память о гражданской войне. А получал ее дядя Карл, пришедший с одеялом и приятелем.

— Легкая она была, как спичка, — любил рассказывать дядя Карл, отпуская воду на водокачке. — Такая была легкая, что я никому ее не отдал и нес от госпиталя до дома без пересмены.

У мамы был нелегкий характер, но и неласковая жизнь, на которую она никогда не жаловалась. Мама рассказывала мне многое, куда больше, чем отец, но — странное дело! — я никак не могу представить ее молодой. Легко представляю молодого отца, с натугой — молодую бабушку, но мама для меня всегда немолода. И может быть, поэтому мне с особой болью думается о ней...

...О, как неистово хочется вернуться в детство, хотя бы на полчаса! Увидеть отца, маму, бабушку, обнять их, попросить прощения и непременно успеть сказать:

— Почитай мне вслух, мама...

Учился я огорчительно и потому, что часто менял школы, и потому, что никогда не был усидчив, и потому, что отличался памятью, обладал изрядным запасом слов и быстро наловчился рассказывать не то, о чем меня спрашивали, а то, что я знал. Скажем, если вопрос касался Америки, я старался соскользнуть либо на Колумба, либо на Кортеса, либо на Пизарро. А рассказывать с бабушкиной легкой руки я наострился, на ходу сочиняя то, чего не было, но что могло бы быть. Это позволяло кое-как перебираться из класса в класс, а причиной всему была моя почти пагубная страсть: я читал. Читал везде и всегда, дома и на улице, во время уроков и вместо них. Читал все подряд, в голове образовалась полная мешанина, но постепенно все сложилось, я вынырнул из литературной пучины и смог оглядеться.

Годам к восьми я все знал о «Пещере Лейхтвейса» и тайнах туговдушителеев, о сокровищах Монтесумы и бриллиантах Луи Буссенара; я скакал за всадником без головы, отбивался от коварных ирокезов, рыл подземный ход вместе с Эдмоном Дантесом. Моими личными друзьями были Ник Картер, Джон Адаме и Питер Мариц, юный бур из Трансвааля. И обо всем этом я часами рассказывал в темных подвалах приятелям-беспризорникам, упиваясь не только самим рассказом, но и возможностью прервать его на самом интересном месте:

— Пить охота.

И не признающая никого и ничего вольница бросалась за водой без всякого промедления. Я на практике познал то, что много позднее вычитал у Ницше: «Искусство есть форма властвования над людьми...»

Мы привыкли третировать литературу, так сказать, «низкого пошиба» куда с большим усердием, чем подобное ей в кино, на телевидении или в театре. Такова традиция, признак хорошего тона и т. п. Я все понимаю, я не стремлюсь быть оригинальным, но я хочу отдать должное этой, «низкого пошиба». И не только потому, что она учит уважать книгу и — выражаясь толстовским языком — «полюблять» ее, а потому, что она чиста в истоках своих. В ней всегда торжествует добро, в ней всегда наказуем порок, в ней прекрасны женщины и отважны мужчины, она презирует раболепство и трусость и поет гимны любви и благородству. Во всяком случае, такова была она, эта литература, в дни детства моего.

У нас в семье читали вслух при первой возможности, но читали почтенных писателей: Тургенева, Гончарова, Гоголя, Лермонтова и почему-то весьма скромного Данилевского. Не скажу, что мне было невероятно интересно, зато интересно было моему отцу, который не устал восхищаться прочитанным. Его авторитет всегда был для меня абсолютным, а потому я, еще ничего не понимая, уже твердо знал, что кроме литературы, которую пересказывают в подвалах, существует и литература, которую, образно говоря, читают, сняв шляпу. А что касается скромного Данилевского, то я и по сей день благодарен ему за первые уроки родной истории.

Если Григорий Петрович Данилевский впервые представил мне историю не как перечень дат, а как цепь деяний давно почивших людей, то другой русский писатель сумел превратить этих мертвецов в живых, понятных и близких мне моих соотечественников. Имя этого писателя некогда знали дети всей читающей России, а ныне оно прочно забыто и если когда и поминается, то непременно с оттенком насмешливого пренебрежения. Я говорю о Лидии Алексеевне Чарской, чьи исторические повести — при всей их наивности! — не только излагали популярно родную историю, но и учили восторгаться ею. А восторг перед историей родной страны есть эмоциональное выражение любви к ней. И первые уроки этой любви я получил из «Грозной дружины», «Дикая», «Княжны Джавахи» и других повестей детской писательницы Лидии Чарской.

Я так подробно пишу о своем постижении истории, потому что история и литература с детства переплелись в моем сознании, и я до сего времени воспринимаю литературу как беллетризованную историю, а историю — как лишенную беллетристики литературу. Но в этом сыграли роль не только Данилевский и Лидия Чарская.

...Я прожил без малого шесть десятков, я еду с ярмарки и все никак не могу понять, как можно не восторгаться, не любить, а то и просто не знать истории родной страны. Откуда это массовое поветрие? От вульгарного ультраклассового представления, что монархическая Россия не стоит нашей благодарной памяти? От спесивого полуграмотного убеждения, что история ничему не учит? От низкого уровня преподавания истории в школах?

Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие.

Так говорил Пушкин.

Избегая назиданий, будто между прочим, отец сумел посеять в готовой под посев душе моей преклонение перед героями. Первые ростки совпали с выходом в свет знаменитой книжной серии «Жизнь замечательных людей»; основатель ее тоже был убежден, что в молодых сердцах надо сеять восторг — и пожнешь жажду подвига. Первая книга «ЖЗЛ», которую я прочитал, была о Сен-Симоне: «Вставайте, сир, вас ждут великие дела!» Я был потрясен величием духа потомка королей, а за ним последовали жестокий конкистадор Франциско Пизарро и отчаянный пират сэр Фрэнсис Дрейк, отважный путешественник Давид Ливингстон и азартный репортер Стенли, угрюмый завоеватель Тамерлан и фанатично преданный идее Христофор Колумб. Я всегда увлекался людьми активного начала и упорно собирал книги о полководцах, путешественниках и авантюристах всех времен и народов. Заметив это, отец принес огромную, еще старой печати, карту мира, набор командирских цветных карандашей и научил кропотливо прокладывать маршруты, а не просто читать. И я милую за милей прошел с Магелланом, вычертил путь Джеймса Кука и точно знал, куда и как плыл Лаперуз. Отважные, но отдаленные временем, а потому почти абстрактные путешественники ожили с помощью этой карты, обрели плоть и страх, дерзость и отчаяние, веру в свое призвание и ослепительный миг торжества.

Если я познакомился с историей через литературу, а с географией — через великих мореплавателей, то следующий шаг логично следовал из восторженного отношения к героям и героине. Конечно, тут сыграло роль и то, что я был сыном участника гражданской войны, рос среди рассказов и воспоминаний, в семь лет разбирал наган и знал все виды стрелкового оружия так, как современный мальчишка знает марки автомашин. Игра с огромной картой мира, где каждое путешествие имело свой цвет, вскоре оказалась недостаточной; карты стали изменяться, пока не превратились из карт географических в карты топографические. Помню, что, с упоением прочитав о Ганнибале, я начал излагать его подвиги отцу, а отец, выслушав, спросил, понял ли я, что значат для военного искусства знаменитые Канны. Я начал что-то бормотать, привычно стремясь перебраться на то, что мне ведомо, но отец взял бумагу, набросал схему сражения и подробно растолковал, как Варрон построил свои когорты, что противопоставил могучему, но малоподвижному противнику Ганнибал и как конница его брата Гасдрубала, разметава римские заслоны, зажала легионы в железное кольцо. Я не утверждаю, что именно тогда я понял, в чем заключается искусство полководца, — для этого понадобились и время, и военная академия, и масса изученной литературы, — но меня поразила осязаемость,

что ли, отгремевшего сражения, его четкая, геометрическая завершенность: битва решалась как теорема «что и требовалось доказать».

Великие мореплаватели отошли на второй план: словно поняв правила некой «военной игры» истории, я и играл в нее. Сражений было множество; чтобы в них разобраться, надо было читать уже не романы и даже не «ЖЗЛ». И я ринулся к отцовским полкам, потому что отец любил военную историю и собирал библиотечку. Это было нелегко, но у меня хватило восторженной настойчивости самому разбираться: я читал, чертил схемы и упоенно громил противника или терпел жесточайшие поражения. Для примера могу упомянуть, что лет этак в двенадцать я осилил скучнейшую «Историю военного искусства...» Дельбрюка, но так и не смог повторить этого подвига, когда мне перевалило за пятьдесят.

Так я увлекся военной историей, но дело не только в том, что я многое узнал. Вскоре мне уже перестало хватать одних «сюжетов», если под «сюжетом» понимать собственно битву: я стал интересоваться причинами и следствиями, опыт чтения научной литературы у меня уже был, и я начал читать историю, как читал литературу, то есть в захлеб. Это случилось классе в восьмом, и с того времени я точно знал, что буду историком.

...Я не стал историком. Порой я с густой горечью думаю, кем мы не стали. Мы не стали Пушкиными и Толстыми, Суриковыми и Репиными, Мусоргскими и Чайковскими, Баженовыми и Казаковыми. Мы не стали учеными, инженерами, рабочими, колхозниками. Мы не стали мужьями, отцами, дедами. Мы стали ничем и всем: ЗЕМЛЕЙ.

Потому что мы стали солдатами.

Мы взрывали, вместо того чтобы строить; ломали, вместо того чтобы чинить; калечили, вместо того чтобы помогать, и убивали, вместо того чтобы в счастье и нежности зачинать новые жизни. Говорю «МЫ» не потому, что хочу урвать кроху вашей воинской славы, знакомые и незнакомые ровесники мои. Вы спасали меня, когда я метался в Смоленском и Ярцевском окружениях летом сорок первого, воевали за меня, когда я скитался по полковым школам, маршевым ротам и формированиям, дали мне возможность учиться в бронетанковой академии, когда еще не был освобожден Смоленск. Война переехала и через меня и если не запахла, не искалечила, не задушила, тяжесть ее все равно невозможно сбросить с плеч. Она — во мне, часть моего существа, обугленный листок биографии. И еще — особый долг за то, что целым и невредимым оставили именно меня...

В 54-й неполной средней школе города Воронежа мне наконец-таки повезло с учительницей русского языка: это была Мария Александровна Морева. С ее помощью в 7-м классе мы начали выпускать литературный журнал объемом в две ученические тетради. Мы — это Коля и я. Коля писал стихи и поэмы с продолжением «в след. №» и подписывался «ОЛЕГ ГРОМОСЛАВЦЕВ». Я строчил рассказы о гражданской войне, Африке и Испании, которые подписывал еще более звучно: «И. ЗЮЙД-ВЕСТОВ». Почему я избрал псевдонимом «Юго-Запад», этого я объяснить не могу. У меня всегда была склонность к трескучим фразам, и псевдоним «ОЛЕГ ГРОМОСЛА-ВЦЕВ» был навязан скромному поэту мной. В отличие от меня, Коля совсем не стремился писать о том, чего не ведал, и одно его стихотворение было напечатано в воронежской молодежной газете: его передала туда Мария Александровна. И я до отчаяния завидовал Кольке...

...Его звали Николаем Петровичем Плужниковым, у него была сестра Вера, и я назвал его именем одного из первых своих героев — героя романа «В списках не значился». Мне необходимо было положить свой венок на могилу самого близкого друга моего...

В воскресенье 22 июня 1941 года я с Колей и еще с двумя ребятами из нашего класса бежали купаться на реку Воронеж. На углу Комиссаржевской и Энгельса нас застигла гроза; ближе всего оказался навес над подъездом бывшей нашей — она была неполной, то есть семилеткой, а мы уже учились в девятом — школы № 54. Мы спрятались под ним и громко вопили от восторга перед ливнем, громом и молниями. А потом открылась дверь, и вышел директор Николай Григорьевич, которого мы когда-то так боялись. Лицо его было серым. «Мальчики, — сказал он. — Война, мальчики». А мы заорали «ура!».

Из четырех семнадцатилетних парнишек, глупо оравших «ура!» в день начала Великой Отечественной войны, в живых остался я один.

В той самой школе, в которой мы с Колей выпускали рукописный журнал и на крыльце которой нам суждено было встретить войну, произошло еще одно событие, не менее для меня важное. Актер Молодого (он так и назывался) театра Миша (фамилию я, к сожалению, забыл) организовал драмкружок. Кружок осилил всего один спектакль — «Юбилей» Чехова, где я играл Шипучина. Затем Миша исчез, кружок распался, но вскоре меня вызвала учительница немецкого языка Анна Яковлевна Цвик. Я приуныл, полагая, что дело касается моих успехов, но Анна Яковлевна предложила тайком подготовить спектакль по какой-то

одноактной пьесе на два лица «про шпионов». Мы стали репетировать то в пустых классах, то на дому и неожиданно для всех сыграли спектакль. Успех был феерическим, нас приглашали в другие школы, и я ходил задравши нос. И в какой-то из школ нас увидел знаменитый воронежский актер Панов; после спектакля он говорил со мной и пригласил на генеральную репетицию. Был «Гамлет» (о нем много писали тогда), и я ошалел не только от Гамлета, но и от атмосферы репетиции, от собственного присутствия не в качестве зрителя, а в качестве приглашенного, то есть почти своего, театрального человека. Пустяк? Да, но с этого пустяка началась моя особая влюбленность в театр, которую я пронес сквозь войну, ученье, работу на заводах, как Нао в романе Рони-Старшего «Борьба за огонь» пронес тлеющую искорку в плетенке, обмазанной глиной. Долог путь от винограда до вина.

...Если условиться под молодостью понимать возраст, а под юностью — период жизни, то наше поколение было лишено юности. Оставаясь молодыми — и даже очень молодыми! — мы перешагнули через юность не потому, что взяли в руки оружие, а потому, что взяли на себя ответственность за чужие жизни. Нет, мы не стали молодыми стариками — мы стали молодыми взрослыми. Ранняя ответственность совершенно по-особому оттеняет последующую жизнь — я дружу со многими солдатами, сержантами и офицерами той поры, — и все эти рано поседевшие мужчины сохранили в себе огромный запас веселого, шумного, подчас озорного детства, точно компенсируя этим украденную у них юность. Она стучалась в наши жизни, и не наша вина, что мы не могли распахнуть ей навстречу наши сердца. Мы многое потеряли, но у потерь есть одно хорошее свойство: они оттачивают память...

На примере своего поколения я берусь утверждать, что молодость — богатство старости. Ее можно растратить на удовольствия, а можно и пустить в оборот...

Летом сорокового года комсомольский отряд нашей школы отправился на уборку урожая в донскую станицу. То ли это было шефством, то ли комсомольской инициативой, то ли чем-то еще добровольным — суть не в причине, а в следствии. А следствием был незабываемый август, работа до шестнадцатого пота, азарт тяжелой страды, четырехчасовые провальные сны в соломе рядом с грохочущей молотилкой, и снова — работа, работа, работа. Поначалу я так уставал, что не мог есть, но втянулся, окреп и трудился уже на равных. А потом мне поручили возить

зерно на элеватор. До него было не близко — более суток волю переставляли клещатые копыта, норовя свернуть куда угодно, лишь бы не идти прямо. Зерно насыпалось в бричку по борту, и мы с убийственной медлительностью тащились по степи. И все замирало, замедляло свой естественный ход, и не было ничего, кроме мерного скрипа брички, тяжелого шага волов и странного, животного ощущения воли. Все смешалось — пространство и время: я спал днем, а бодрствовал ночью и, кажется, впервые понял, что такое ночь и что такое день.

...Я пишу об этом потому, что отчетливо помню чувства сорокалетней давности. И когда говорю, что еду с ярмарки, то вроде и вправду еду и вновь ощущаю скрип перегруженной брички, вздохи волов, густоту ночного воздуха, запах полыни и звездопад августовского неба. А я лежу на душистом зерне и знать не знаю, что ровно через год буду метаться в окружении в нехоженных смоленских лесах. И, вместо того чтобы стать юношей, стану солдатом, как миллионы моих ровесников.

Как-то на одном из пленумов Союза кинематографистов я в полемическом задоре объявил вредными (или, как минимум, бесполезными) все учебные заведения, в которых из нормального человека делают «писателя или киносценариста». Возможно, я перегнул палку, но и сегодня мне кажется, что обучать профессиональным навыкам следует не до того, как человек на личном опыте узнал, что такое пот и надежда, предательство друга и измена женщины, а после. После того, как будущий писатель собственным горбом научится зарабатывать хлеб насущный, сохранив желание стать писателем, несмотря на ежесуточное недосыпание. Это представляется мне нормальным, естественным отбором в противовес принятому сейчас выращиванию гениев на клумбах. Понимаю, что я субъективен, что в конечном счете все зависит от таланта, но как быть со скудостью жизненного багажа? Заменить его творческими командировками? Допускаю, что в некоторых случаях командировки могут помочь, но полностью поверить в их всемогущество мне решительно мешает собственный житейский опыт.

В 1949 году я работал на Урале инженером-испытателем, был весьма активным комсомольцем, играл Петра в «Мещанах», вел концерты — словом, изо всех сил уничтожал время, которого так не хватает сейчас. И однажды был востребован в заводской комитет комсомола.

— Товарищи, я пригласил вас, чтобы сообщить приятнейшее известие: к нам едут писатели, — сказал секретарь.

Я оказался в составе «группы приема», и работа закипела. Помню, что

к нам направлялись три прозаика (одним из них был Бирюков, автор нашумевшей тогда «Чайки»). Члены «группы приема» немедленно прочитали все, что успели создать прибывающие гости, а самое интересное заключалось в том, что огромный заводиче яростно чистили не только снаружи: к дню приезда писателей сколачивались смены и бригады, в которых напрочь отсутствовали пьяницы и прогульщики, лентяи и бракоделы, чересчур молчаливые и чересчур болтливые, а из женских бригад на это время изымали пожилых и некрасивых, доукомплектовывая их секретаршами и машинистками для пущей приятности. Мы заседали допоздна, уточняя маршруты, которыми поведут дорогих гостей, и расставляя на этих маршрутах сплошных передовиков.

Мнение, будто писатель наделен сверхъестественной наблюдательностью, распространено весьма широко, но мне оно представляется величайшим заблуждением. Правда, и здесь я, естественно, исхожу из личного опыта, понимаю, что он далеко не абсолютен, и все же, все же... Во-первых, писатель — не натуралист, а мир людской — не муравейник, а во-вторых, наблюдательность подразумевает конкретное мышление, а писатель могуч мышлением образно-ассоциативным. Пишу эти всем известные истины только для того, чтобы признать, что писатель — конечно же! — наблюдает. Наблюдает хотя и неосознанно, но придирчиво, днем и ночью вслушиваясь и всматриваясь в самого себя. И всех героев своих писатель, как правило, лепит по собственному образу и подобию, выламывая собственные ребра не только для Ев, но и для Адамов.

Отец всю жизнь носил военную форму. Он вышел в отставку до того, как ввели брюки на выпуск, всю службу проходил в гимнастерке, галифе да сапогах, а когда надел подаренный гражданский костюм, то тут же и упал, чуть не вывихнув ногу в лодыжке. Это настолько вывело его из свойственного ему душевного равновесия, что на повторный эксперимент с ботинками он так и не решился, до самой смерти своей не изменив родной для него русской офицерской форме. И в гроб лег в ней.

Он был небольшого роста, а я удался в мамину породу и в 6-м классе догнал отца, так сказать, в длину. И тут же надел его старую гимнастерку, брюки, шинель и сапоги. Гимнастерка и шинель свисали с плеч, сапоги чуть хлюпали на ногах, но рос я быстро, подгоняя себя под форму, которую снял лишь в 1954 году. По моему примеру военную форму надел и мой друг Володя Подворчаный; вечерами мы любили прогуливаться в районе военного училища, потому что курсанты в сумраке отдавали нам честь, а

мы очень радовались. В школе меня прозвали Солдатом, а когда я получил направление в академию, отец уверовал, что я и в самом деле солдат, что это — моя судьба и что служить мне всю жизнь до законной отставки. Да и сам я тогда верил в это, тем более что служба моя по окончании академии оказалась уникальной: я работал испытателем колесных и гусеничных машин. И отец очень радовался, старомодно полагая это карьерой, втайне гордился сыном с высшим военным образованием в двадцать три года и ведать не ведал, какую свинью ему подложит этот преуспевающий инженер-капитан. Впрочем, я тоже не ведал: все произошло как бы само собой.

После войны наша армия переживала естественный процесс смены офицерского состава. На места командиров, имевших богатейший боевой опыт, но не обладавших специальным образованием (как правило, училище военного времени), начали приходить выпускники академий, не имеющие полновесного боевого опыта, но обладающие полновесными академическими дипломами. Таких образованных офицеров было немного, приходили они в части по одному, по два, оказываясь белыми воронами в среде, спаянной фронтовой дружбой, общей опасностью и общей судьбой.

И тогда я написал пьесу, назвал ее «Танкисты» и послал в ЦТСА. По ведомственной принадлежности. Это было в апреле, а к маю я получил телеграмму от заведующего литературной частью Антона Дмитриевича Сегеди: «ПРИЕЗЖАЙТЕ НЕМЕДЛЕННО». Я выпросил у начальства два дня и приехал в Москву. 3 мая меня принял Алексей Дмитриевич Попов — руководитель Центрального театра Советской Армии.

Мне казалось — да и сейчас кажется, — что я просидел весь день в тесном кабинетике на втором этаже. Я был так взволнован, что напрочь, начисто забыл этот столь знаменательный для меня разговор; я поддакивал, радостно соглашался, что-то бессвязно записывал, подавленный жаром, импровизацией, стремительностью и напором. Меня много раз просили написать об этой встрече для книги об А. Д. Попове, в юбилейный сборник, но я всегда отказывался, а на меня обижались, не представляя, что я не хочу ничего сочинять, а что было на самом деле — не помню. Ничего не помню, кроме одной фразы:

— Вы написали пьесу из зрительного зала, а надо писать — со сцены. Но вы ничего не смыслите в театре, а потому извольте ходить к нам каждый день. На репетиции, на спектакли, на читки, просто так. Глядишь, тогда и пьеса получится.

А еще помню, как он метался по крохотному кабинету, объясняя, что я написал. Он играл все роли, изредка заглядывая в мою рукопись,

исчерканную его красным карандашом: теперь она хранится в музее театра. И втолковывал мне, что такое *роль*, а я так ничего и не запомнил.

Домой я вернулся, ощущая себя драматургом и невероятно важничая. И сразу же подал рапорт с просьбой о демобилизации «в связи с желанием заняться литературным трудом». Не стану описывать всех мытарств, вызовов в генеральские кабинеты, слез матери и хмурых взглядов отца. В конце концов я добился своего, и в сентябре 1954-го получил полную возможность «заниматься литературным трудом»...

...Странно, трижды жизнь предоставляла мне редчайшее право самому решать свою судьбу. Я всегда воспринимал это восторженно и никогда — критически, всегда глядел на предоставляющуюся возможность изнутри, а не снаружи, не желая думать, чего это стоит, а мечтая о результатах. Так было, когда я с энтузиазмом ринулся на инженерный факультет военной академии, не только не имея ни малейшей склонности к технике (кроме пожара в гараже), но будучи гуманитарием, так сказать, с головы до пят. Так было и тогда, когда по тесному кабинету метался прекрасный Алексей Дмитриевич, а я не столько слушал его, сколько рисовал в воображении афиши московских театров и прикидывал названия будущих премьер. Так было и в третий раз, когда вместо театра я оказался в кинематографе, который должен был бы, кажется, постичь с помощью родной бабушки на венском стуле...

ЦТСА заключил со мной первый в моей жизни договор, на аванс от которого я купил первый в своей жизни костюм и шляпу; на пальто денег не хватило, и я долго ходил в офицерской шинели и — в шляпе. Общими усилиями пьеса была доведена до сценического варианта, начались репетиции. Спектакль ставил Иван Петрович Ворошилов; я постоянно спорил с ним и дома — а жил я тогда у сестры вместе с ее семьей и мамой (отец не выезжал с дачи более чем на сутки: он не любил Москвы) — всячески поносил режиссера. А поскольку называл я его по фамилии и при этом в выражениях не стеснялся, мама очень пугалась и бежала наглухо закрывать окна.

В декабре 1955 года начались общественные просмотры. Пьеса к тому времени изменила название, поскольку в репертуаре театра оказались «Летчики» Л. Аграновича и С. Листова. Иметь рядом с «Летчиками» еще и «Танкистов» было чересчур, и в конечном счете моя пьеса стала называться «Офицер». Спектакль театр намеревался показать 25 декабря, о чем оповещали расклеенные по Москве афиши. Состав был отличным:

Колофидин, Сазонова, Зельдин, Сошаль-ский, Алексеева, Сомов; в театре и по сей день этот спектакль считают одной из принципиальных удач, хотя он так и не увидел света. И мне достались на память афиша, программа да актерская теплота. А если учесть, что пьесу хотел ставить Акимов и уже приступил к читкам, а главный редактор журнала «Театр» Н. Ф. Погодин намеревался опубликовать ее, то следует признать, что начал я «занятия литературным трудом» с хорошего нокдауна, через год после демобилизации оказавшись у разбитого корыта.

Я перестал бегать по театрам и начал писать. Так много, плохо и быстро я не писал никогда. Я упрямо продолжал считать себя драматургом, был убежден, что постиг театр и что теперь дело только за моим пером...

...Признаюсь, то, что я не драматург, я понял не так уж давно, поработав с самыми разными театрами и самыми разными режиссерами. Понял, что драматургами, как и прозаиками, не становятся, а рождаются, что мало знать законы жанра, специфику театра и уметь писать слева — кто говорит, справа — что говорят. Драматург и сам мир видит драматургически, конфликтно и обнаженно, и людей не столько стремится типизировать (что естественно для прозаика), сколько приблизить их к амплуа, подмечая в жизни «роль», а уж потом — тип. Это мне никогда не удавалось, и я не просто не помогал театральным режиссерам, а, сам того не желая, всегда заставлял их преодолевать «литературу», то есть мое восприятие мира. Но это, повторяю, я сообразил значительно позже, а тогда — строчил.

Из всех торопливо написанных тогда пьес свет увидела одна: «Стучите — и откроется» (тоже об армии). Она была поставлена в театре Черноморского флота и в театре Группы войск в Германии. Славы она мне не принесла, денег тоже (я по-прежнему жил на весьма скромную зарплату жены), зато я получил право писать во всяких бумажках, что мои пьесы «идут как в театрах нашей страны, так и за ее пределами». Как назвался я И. Зюйд-Вестовым в 7-м классе, так им и остался. Жизнь была не слишком веселой, но я не унывал, неистово веря, что все будет прекрасно. Я всегда верил в собственную мечту исступленнее, чем в реальность, и не продал этой веры на ярмарке, с которой сейчас возвращаюсь.

Здесь следует кое-что объяснить. В те времена (тридцать лет назад) при Главкино существовала Сценарная студия, директором которой был В. Е. Дулгеров. Статус этой студии отличался от современной тем, что она как бы совмещала собственно производственную студию со сценарными курсами, состоявшими из мастерских, которые вели признанные мастера

кино: Евгений Иосифович Габрилович, Алексей Яковлевич Каплер, Мария Николаевна Смирнова, Екатерина Николаевна Виноградская, Александр Петрович Довженко, кто-то еще и — Николай Федорович Погодин. Мастера набирали начинающих на основании их заявок, а начинающие писали по этим заявкам сценарии, получая стипендию в полторы тысячи рублей (150 по нынешним деньгам). Условия были весьма льготными, желающих — множество, но Николай Федорович неожиданно пригласил меня и сохранял место, пока я не сочинил приемлемой заявки. А через восемь, что ли, месяцев закончил сценарий, по которому Свердловская киностудия поставила фильм «Очередной рейс» с Георгием Юматовым в главной роли. Таким образом я из драматурга переквалифицировался в киносценариста, но моя драматургическая карьера на этом этапе закончилась прекрасным аккордом.

В 1956 году Союз писателей решил провести в Переделкине полуторамесячный семинар молодых драматургов. Кого там только не было: Александр Володин и Леонид Зорин, Михаил Шатров и Марк Соболь, Микола Зарудный и Виктор Курочкин, Лев Давыдычев и Лев Устинов, Леонид Агранович, Зак и Кузнецов, Алешин, Маша Сторожева, Афанасий Салынский... и много-много других. Ночные споры до хрипоты, общие читки пьес, разбор по гамбургскому счету: мы были молоды и отлично знали, как именно надо писать. А руководил этим шумным, озорным и очень талантливым сборищем Владимир Федорович Пименов; ныне птенцы его давно оперились, но до сей поры с юношеским пылом вспоминают ту переделкинскую осень, и если у меня спрашивают, бывает ли толк от творческих семинаров, я категорически утверждаю это, помня свой первый семинар.

Но вернемся к Сценарной студии, которая оказалась для меня единственным творческим учебным заведением и куда я ходил, — правда, реже, чем на бабушкины киносеансы. Формой ученья были лекции, индивидуальные занятия с мастерами и просмотры. Хорошо помню первую обзорную лекцию, которую прочел Виктор Борисович Шкловский. Начал он совсем уж парадоксально:

— В кино за вход платят рубль, а за выход — два. Кто к этому не готов, пусть сейчас же уйдет отсюда и займется чем-либо полезным.

Никто, разумеется, не ушел, но жизнь подтвердила правоту очередного парадокса Виктора Борисовича, и я, например, до сей поры никак не могу расстаться с кино, хотя почти все картины, сделанные по моим сценариям, стоили мне дорогих компромиссов. Да, в кино ни в грош не ставят автора, не считают сценарий литературой, но где, скажите мне, раздобыть те

заветные два рубля, которыми, по словам Шкловского, надо оплатить уход из кинематографа?..

Студия — не семинар, и я не могу вспомнить всех, кто занимался одновременно со мной. Помню Юлию Друнину, Тадеоса Бархударяна, Аллу Белякову, Даниила Храбровицкого и, конечно, — Кирилла Рапопорта, своего друга и соавтора многих сценариев. А кто со мной был в мастерской Погодина, я напрочь позабыл, потому что бегал к Николаю Федоровичу один, но — почти каждый день.

...Круглая, в кольцах седых волос, всегда трясущаяся голова, прищуренный, невозможно лукавый взгляд — искоса, как луч, и — улыбка. Особая, погодинская, с сотней оттенков, намеков и значений. И сентенции:

— Есть только четыре вида драмы: он любит ее, а она его не любит; она любит, но он не любит; оба любят, но кто-то мешает им быть вместе; оба не любят, но кому-то надо, чтобы они не расставались. Вот за чем следит зритель, все остальное — собачья чушь.

— Зритель пошел страшный: в современной пьесе ружье непременно должно висеть в первом акте, но не вздумай из него выстрелить: на смех поднимут.

— Никакой специфики кино нет, это алхимия. Всё покоится на тех же китах: любовь, ненависть, ревность, зависть, месть, самопожертвование. Какая же здесь специфика? Что кони по экрану скачут? Собачья чушь, а не специфика.

— Писать — каторга, скучнейшее занятие. Я написал чертову уйму пьес, а с наслаждением — только «Аристократы». Так что не жди, что воспаришь, а каждый божий день лезь в забой, как шахтер. Вдохновение для дам придумано вкупе с экспромтами.

— Ты что, на машинке сочиняешь? Ну и не будет из тебя толку. Писать надо пером. Обыкновенным пером скрипеть по бумаге, как сто лет назад скрипели. Тогда мысль не рвется. А машинка — она ведь железная. Отъединяет.

— Не садись писать, пока точно не знаешь, чем закончишь. Середины можешь не знать, это даже вредно — знать все последовательно. Мертвечина. Но конец знать обязан: конец — цель, в которую ты стреляешь.

— Знаешь, в чем принципиальная разница между мужчиной и женщиной? Каждый мужчина мечтает убить мамонта, но не каждому это удастся. А каждая женщина мечтает завладеть мужчиной, который уже убил мамонта. Вот отсюда и исходи.

— Герои должны говорить неожиданно и внешне нелогично. Тогда возникает диалог. А если ожидажно — болтовня. Собачья чушь.

— Писателю требуется обаяния больше, чем актеру: он ведь свой текст говорит. Оттачивай, понял?

— Писать надо так, чтобы зритель в шепоте крик услышал. А путь для этого — как у скрипача: каждый день работать. Каждый, без выходных: только таким путем уйдешь от халтуры...

Так учил меня Николай Федорович Погодин. Естественно, я не стенографировал его, и то, что изложено здесь, кристаллизовалось значительно позже, когда я смог прибавить к ученью личный опыт. В конечном счете творчество и есть умение добавить в известное всем капельку личного опыта.

Начало моей карьеры в кино было обещающим. Не успел запуститься в производство «Очередной рейс», как мне и Кириллу Рапопорту предложили написать сценарий «Сержанты», оказавшийся первой ласточкой нашего многолетнего соавторства. Вслед за выходом на экран фильма «Очередной рейс», имевшего хорошую прессу и зрительский успех, я написал еще один сценарий для той же студии. Он назывался «Длинный день», снимались в нем Афанасий Кочетков и Евгений Лазарев, а вторым режиссером на картине работал выпускник ВГИКа Элем Климов. А как только эта картина пошла в прокат, я получил предложение от уже известного в то время режиссера Марлена Хуциева написать с ним вместе сценарий, условно названный Марленом «Застава Ильича».

Не знаю, как повернулась бы моя жизнь, если бы я с достаточной ответственностью взялся за эту работу. Вероятно, справился, Хуциев получил бы приемлемый сценарий, снял бы его и... Но это — из области предположений, а в действительности я отнесся к предложению крайне легкомысленно, пригласил в помощь Кирилла Рапопорта, и в результате Марлен оставил нас. Вместо двух легковесных говорунов он взял молодого Шпаликова, написал с ним сценарий, снял фильм, получивший позднее название «МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ».

Кажется, на этом и кончилось мое поступательное движение на стезе кинодраматургии. Правда, я стал членом СК СССР, получив тем самым формальное право на творческую работу, что несколько примирило моего отца с избранной мною судьбой. Но в собственно работе, дававшей мне заработок, так как я нигде не служил, появился ощутимый сбой. Я добросовестно кропал сценарии, основанные на сюжетах, а не на идеях, и все чаще слышал от редакторов уничтожающее определение:

— Литература.

Увы, я не обладал кинематографическим видением, не умел кинематографически мыслить и даже записывать. То, что выходило тогда из-под моего пера, было просто плохой литературой, и поэтому режиссеры избегали меня. Это был тяжелый период, и лишь одна встреча радует меня и до сей поры. Встреча с режиссером Владимиром Михайловичем Петровым, поставившим много картин, и в их числе «Грозу» по Островскому и «Петр Первый» по Ал. Толстому с Николаем Симоновым. Нас познакомила Нина Васильевна Беляева — редактор «Мосфильма», знавшая меня еще по Сценарной студии. Писатель Сергей Никитин предложил свою повесть о девушке-партизанке, а сценарий написать не смог, и в помощь прикрепили меня. Сценарий назывался «Ее лицо», был доведен до запуска, но от него отказались (тогда шла лютая борьба с абстракционизмом в живописи, а наш герой как раз им-то и увлекался), но дело не в сценарии, а во Владимире Михайловиче. Он жил на Воровского, рядом со старым Домом кино (ныне Театр киноактера), где меня часто принимали, кормили, поили старым коньяком — супруга Владимира Михайловича Кетеван Георгиевна была по-грузински гостеприимна, — а меня тянуло в насквозь прокуренный кабинет. Там повсюду валялись раскрытые пачки самых разных сигарет, на полках стояли книги на русском, английском, французском и немецком языках, и не просто стояли, но и читались, и часто переводились мне с листа. Хозяин всегда просил прочитать, что я принес — будь то короткий эпизод или кусок сценария, — и, слушая, рисовал, схематично, но точно раскадровывая мою литературную запись.

— Вы так себе это представляете?

— О да, конечно!

— Не торопитесь, пожалуйста, не торопитесь соглашаться. В мире нет двух людей, которые одинаково видели бы третьего. Поэтому речь может идти лишь о том, что у нас общего, а что — разного. И по законам логики подобие надо отбросить — это заведомый штамп, — а над различными точками зрения неторопливо поразмышлять.

Владимир Михайлович был рациональным даже в лучших своих картинах. К старости он приобрел некоторый скепсис в адрес любимого им кино, но скепсис с привкусом горечи, а не злорадства. А я в это время остро нуждался в ином взгляде на искусство, и Владимир Михайлович неназойливо прививал мне его, постепенно размывая наносные пласты наивной восторженности и ложной патетики.

После неудачи с инсценировкой повести Никитина мы с В. М. Петровым сделали сценарий «Сегодня, в 16.10», довели его до

подготовительного периода, а потом и его закрыли, усмотрев противопоставление поколений. Больше с Владимиром Михайловичем я не работал, встречались мы очень редко, а вскоре он умер. Умер завидной смертью: вышел покурить во время съемок, сел в кресло — и будто уснул. И сигарета долго дымилась в холодеющей руке... Он как-то читал мне Пушкина:

Иль в лесу под нож злодею
Попадуся в стороне,
Иль со скуки околею
Где-нибудь в карантине...

Я разуверился в своих способностях и перестал писать. Я лишь кое-что сочинял, зарабатывая на жизнь: подтекстовки к киножурналам «Новости дня» и «Иностранная хроника», компилятив-ные передачи для телевидения и сценарии КВН — Клуба веселых и находчивых. Был тогда на телевидении такой очень популярный цикл, основанный на импровизациях, но, естественно, требующий организованного материала. Вот я и писал для этого сценарии и впервые напечатался не как прозаик и не как драматург, а как составитель сборника сценариев КВН для самостоятельности и автор предисловия в издательстве «Советская Россия». Эта книжечка — первая, и она дорога мне совершенно особо.

В то время я начал путешествовать. Еще в 61-м году нас с женой пригласили в большое автомобильное путешествие друзья. Мы проехали почти семь тысяч километров, отправившись сначала на запад, а затем на юг, до Крыма. Мы не торопились, останавливаясь в красивых и памятных местах, ночуя в палатках и машинах. Так я впервые попал в Брестскую крепость еще до того, как туда протоптали туристическую магистраль; уже был музей, но еще были стены, иссеченные пулями, и подвалы с обожженными сводами, и тишина после боя, и хруст осколков под ногами. И мы бродили по крепости целый день, и я все время думал, что как раз тогда, когда я метался в окружениях, крепость сражалась. А потом весь путь до моря и от моря робко мечтал, что когда-нибудь возьму да и напишу, как она сражалась, пока мы бегали по лесам.

...Признаюсь, мечты — именно мечты, а не мысли! — о прозе посещали меня давно, но носили отвлеченный характер, хорошо-де было бы написать роман... А тут впервые мечта обрела почву, конкретность,

пафос, трагизм. Мечта начинала превращаться в мысль, будоражила, вместо того чтобы убаюкивать, лишала сна, тревожила и — злила. Злила, потому что я понимал ее нереальность.

Наверно, это естественно: утверждение через отрицание. Я помню, как злился и паниковал, впервые задумавшись над романом «Были и небыли». Это случилось задолго до поездки в Болгарию и никак еще не связывалось с русско-турецкой войной. Это была мечта написать роман о дедах вообще, без всякой исторической основы, а потому как бы и ни о чем. В известной степени это сродни тому отчаянному чувству невозможного, какое испытываешь, мучаясь над первой фразой. Именно над первой: как начать? В этом заложено нечто большее, чем просто написание слов: акт рождения. Реализация чего-то не существовавшего доселе. Миг, превращающий эфемерные, неясные, преступно личные мысли в некую общественную значимость. Всегда боялся этого, и всегда меня неудержимо тянуло еще и еще раз пережить это. И такое ощущение, будто вот этот момент и есть творчество, а то, что потом, — просто работа. Ремесло, которым зарабатываешь на жизнь.

Вскоре после путешествия я впервые попал на Среднюю Волгу, а точнее — на ее приток Унжу. При впадении Унжи в Волгу стоит город Юрьевец; когда наполнили чашу Горьковского водохранилища, вода залила низменную часть города, и ее жителей переселили за сорок километров вверх по Унже, где отстроили поселок с ласковым названием Дорогиня, с запанью, ремонтными мастерскими и затоном для малого флота. Когда мы туда впервые попали, там была глушь да непроходимые, заболоченные леса. И медведи по осени приходили к поселку поглядеть на людей перед тем, как завалиться в берлоги.

Такова была Дорогиня, куда можно было добраться на неторопливом «Витиме» за четыре часа от Юрьевца. А еще выше, у Горчухи, была промышленная гензапань, и огромные баржи развозили оттуда лес по всей Волге. На гензапани грохотали сплоточные машины, качались венгерские плавучие краны «гансы» и суетилось множество народа. В основном это были сезонники, а матросов не хватало, и катера простаивали. И, вдоволь наглядевшись на невиданную прежде работу, на веселый азарт погрузок, на весь этот тяжелый, потный, мокрый, но такой захватывающий, такой наглядный труд, мы с женой пошли на катер с тем же названием «Дорогиня», и капитан Сергей Ларионов взял нас на борт помощником и матросом.

Это была честная работа, от которой засыпаешь, как в детстве,

просыпаешься с песней в душе и ломотой во всем теле и видишь, как встает солнце и тают речные туманы, и не замечаешь, когда оно заходит. И грохот дизелей за тонкой переборкой не мешает слышать, как нос катера вспарывает речную волну, и необъяснимая радость переполняет тебя, и ты — родной брат всем этим усталым, чумазым людям, и чем-то из юности веет, что ли: «Закурим, браток, пока немец не стреляет...» И через неделю я не выдержал. Я купил тетрадку и карандаш, а когда стояли в ожидании буксира, трясаясь от волнения, вывел первую строчку: «ВЕЧЕРАМИ В МАЛЕНЬКОЙ ПОСЕЛКОВОЙ БОЛЬНИЦЕ ТИХО».

Так начал я свою первую повесть, названную в полном соответствии с И. Зюйд-Вестовым «Бунт на Ивановом катере» и напечатанную в 1970 году в журнале «Новый мир» под куда более скромным названием «Иванов катер». Но строка не изменилась, так и оставшись изначальной во всей моей прозе.

Однако начать-то я начал, но внутренней убежденности в своем праве на прозу у меня не было. Я не верил сам себе и, написав треть, отложил повесть. Я уже владел словом, но как писатель еще не созрел, хотя давал себе отчет, что могу им стать. И все же долго не мог заставить себя достать написанное и забыть обо всем на свете. Нужен был еще один импульс, чтобы я перешел на новые рельсы.

Последним толчком оказалась обида. Обыкновенная человеческая обида, в которой мне не стыдно признаться: меня не выбрали делегатом на съезд кинематографистов. Если бы это произошло сейчас, я бы пожал плечами и пошел работать, но тогда под гнетом комплекса неполноценности любое небрежение переносилось чрезвычайно болезненно. Особенно когда тебя в утешение избирают председателем счетной комиссии, и ты даже не можешь скрыться с людских глаз. Я держался как мог, шутил и громко хохотал, а в груди ворочалось мстительное: «Ну погодите, я вам еще докажу!...» И пошел доказывать.

Первую повесть — то, что потом назвалось «Иванов катер», — я закончил в канун 1968 года. Поначалу я послал ее в журнал «Волга», но оттуда ответили, что повесть написана чрезвычайно пессимистично, что герои ущербны, фон мрачен и что вообще так не бывает. И тогда я отдал ее знакомому по «Мосфильму» редактору В. В. К., который работал в одном толстом московском журнале.

В. В. прочел рукопись быстро, позвонил, сказал, что дает читать членам редколлегии, и просил принести как можно больше экземпляров. Я немедленно притащил все, что у меня было, и В. В. уже очно подтвердил, что у журнала самые серьезные намерения, что после редколлегии мне

выделят редактора и что журнал планирует напечатать мою повесть в первой половине будущего года. Боже, как я был счастлив! Я вылетел из редакции прямехонько на бульвар, где меня ждала Зоря (я впервые представляю свою жену, хотя женился-то я в 1946-м, а ждет она меня в 1968-м. Ай-ай, нехорошо). И мы пешком шли до Белорусского вокзала и все говорили и говорили. О том, что еще предстоит сделать в этой повести, что предстоит написать в будущем и что теперь наконец-то пришла пора покончить с литературной поденкой ради хлеба насущного и работать, работать, работать! А на другой день позвонил Александр Евсеевич Рекемчук — это ему передал рукопись В. В., — сказал, что ему все нравится, что замечания у него несущественные, что он от души поздравляет меня и что будет стоять за эту повесть горой, потому что легкой жизни мне ждать не следует.

— ???

— Да, да, нервы потреплют основательно. Но ни в коем случае не отдавайте главного!

Через неделю позвонил В. В. На сей раз голос его не гремел победным оптимизмом, а был тих и — как мне показалось — смущен. Он сказал, когда состоится редколлегия, но предупредил, чтобы я не строил радужных планов: повесть встретила серьезные возражения, в план будущего года меня не включают, редактора давать нецелесообразно и бороться надо за то, чтобы остаться в резервном портфеле журнала.

На редколлегию мы прибыли плечом к плечу с Рекемчуком. Вид, вероятно, у меня был неважный, потому что Александр Евсеевич все время наставлял:

— Будут брать за горло — покажи характер.

Началась редколлегия, повесть представлял В. В., а я настолько ошалел, что ничего не соображал. И куда делись все комплименты и поздравления? Он скупое отметил в качестве положительной стороны тематику («о рабочем классе», как выяснилось) и долго говорил об общей пессимистической тональности, с которой автору, то есть мне, предстоит серьезная борьба. Я не верил собственным ушам, но тут встал Рекемчук и в пылу спора вознес повесть на недостижимую высоту. И тогда все дружно накинулись на меня, будто я был тайным пособником закоренелых врагов. В чем только меня не обвиняли — именно меня, а не мою повесть, вот ведь в чем парадокс! — и в очернительстве, и в незнании жизни, и в клевете, и в перегибах, и во всех прочих мыслимых и немыслимых грехах. Но до выводов дело так и не дошло, потому что разгневанный Александр Евсеевич, обругав всех чинушами, велел мне «показать характер». Я

показал, и мы с Рекемчуком хлопнули дверью в буквальном смысле слова.

Не знаю, что послужило причиной столь беспощадного разгрома, но думаю, что мне повезло. И дело даже не в том, что я — случись обратное — вряд ли написал бы «А зори здесь тихие...», а в том, что я не встретился бы с Борисом Николаевичем Полевым и редколлегией журнала «Юность» и не возникла бы цепочка, связавшая воедино прозу, театр и кинематограф. В конечном счете все самое хрупкое — например, любовь, дети, творчество — рабы слепого случая. Закономерности действительны только для больших чисел...

Итак, рассвирепевший Рекемчук увел меня с редколлегии, велел на другой день забрать в журнале все экземпляры повести и лично отвез ее в другой толстый журнал. Она лежала там довольно долго, но однажды меня вызвали. Я приехал, поднялся на второй этаж и был введен в кабинет Александра Трифоновича Твардовского. Он торопился, разговаривал стоя и очень коротко:

— Мы берем вашу повесть, но надо сокращать. Ваш редактор — Анна Самойловна Берзер. Слушайтесь ее.

Кажется, я тогда ничего не успел сказать. Вскоре Александр Трифонович умер, моя работа с Анной Самойловной отложилась, но я дорожу этим мимолетным свиданием. Со мной, хотя и коротко, говорил сам Твардовский, и говорил задолго до «Зорей».

Одиннадцатого мая 1968 года в подольском военном госпитале умер мой отец, так и не дождавшийся моего признания. Оно состоялось через год, и мне всегда хотелось поступить так, как поступил герой горьковского рассказа, — прийти на могилу и доложить:

— Отец — сделано!

Но тогда оно еще не было сделано, я не знал, когда оно будет сделано, но уже знал, что сделано будет. Это не самоуверенность, а диалектический скачок, переход количества в качество: я созрел. И зрелость выразилась не в том, что я стал лучше писать, а в том, что я понял, о чем я должен писать.

Странное дело, это понимание не поддается логическому объяснению. До момента прозрения было проще: я знал, что собираюсь писать, и мог рассказать сюжет или заведомо туманно изложить нечто в заявке. Теперь эта легкость испарилась, я вдруг разучился рассказывать. Да и что рассказывать-то? Сюжет? Но разве в сюжете дело? Разве «Зори» исчерпываются историей, как пять девушек и старшина не пропустили

фашистских диверсантов? Разве «В списках не значился» — это о том, как молоденький лейтенант сражался в Брестской крепости? И «Не стреляйте белых лебедей» — роман о защите окружающей среды? А «Были и небыли» — о русско-турецкой войне? Конечно же нет — они больше сюжета, шире только рассказанных событий, и это как раз и есть мое постижение литературы. Мое, личное: у других, естественно, все складывалось по-иному.

Наши предки, встречаясь, желали друг другу здоровья и расставались, прося прощения. Первоначальный смысл слов затерялся в пережитом, истерся от частого употребления: изменившийся быт исключил из обихода множество традиций, и мы уже не говорим «Здравствуй!» новорожденному и «Прости!» умирающему. И все же в нас что-то осталось, что-то не поддающееся логическому осмыслению, может быть, память предков. Иначе я не могу объяснить, откуда у меня чувство вины перед теми, кого уже нет.

Никто из нашей семьи не простился с отцом. Накануне у него была сестра: он ни на что не жаловался (он никогда никому не жаловался), был ласков и улыбчив и знал, что не доживет до утра. Сестру тогда удивило, что он ничего не попросил, но она посчитала это извечным отцовским стремлением ничем не досаждать людям. Даже самым близким и самым любимым. И Галя распрощалась с ним, как всегда, но в дверях оглянулась: отец лежал в своей излюбленной позе — на спине, бережно положив под голову свои все умеющие делать руки. Он кротко (я сознательно употребляю это архаическое наречие в наш совсем не кроткий век) улыбнулся ей в последний раз.

— А глаза у него были такие синие, будто не на меня он смотрел, а в небо, — каждый год рассказывает мне сестра.

Да, он уже смотрел в вечность, и потому у него были необычной синевы глаза. Он прекрасно прожил свою жизнь и, несмотря на незаслуженно мучительную смерть, лежал в гробу спокойно и просто. Будто уснул. Мучениям подверглось его тело, но не душа. Душа осталась незамутненной и после жизни.

Вероятно, у него были враги — нельзя честно прожить жизнь, не нажив врагов. Отец никогда не говорил о них: он говорил только о друзьях, и зло не имело у него права голоса. Он жил с ощущением, что кругом только очень хорошие люди, и всегда вел себя так, чтобы занимать как можно меньше места. Он никогда не входил первым, никогда никого не отталкивал и никогда не садился в городском транспорте. И нянечка в

госпитале рассказывала, что отец последние часы не спал, а ходил по коридору: он терпел рвущие живое тело боли, но мог застонать во сне и, чтобы этого не случилось, чтобы не обеспокоить соседей по палате, бегал по госпитальным коридорам ночи напролет.

Отец вышел в отставку сразу после войны, получил участок в поселке на Зеленоградской, построил домик и уже не стремился в Москву. «Домик», правда, сказано смело: это была скорее сторожка с засыпными стенами общей площадью в восемнадцать квадратных метров, которую он построил сам от фундамента до конька крыши. Он вообще все делал сам, знал десятки ремесел и по-молодому тянулся к новому, сам себе, например, соорудив телевизор из бросовых деталей.

Осенью поселок пустел, но отец любил тишину и одиночество: мама уезжала к сестре до весны. Отец топил печь, читал, чистил дорожки, с невероятным увлечением паял и перепайвал что-то, совершенствуя свой самодельный телевизор, и ему вечно не хватало времени. Брошенные собаки собирались к нему со всего опустевшего поселка, безошибочным собачьим нюхом определяя, что он — человек. Он кормил эту ораву, и она преданно сопровождала его в поссовет на партийные собрания.

...Когда-то мне часто снился один и тот же сон: старый запущенный сад, в голых ветвях которого путаются обрывки низких осенних туч. За садом тучи вплотную примыкают к земле, но в саду светло, тепло и тихо. Мы бродим с отцом, по колено утопая в мягкой листве. Ее так много, что кусты крыжовника и смородины скрыты под нею, как под одеялом, и я знаю, где они, эти кусты. Я разгребаю листву и собираю ягоды с голых ветвей. Огромные, перезревшие, очень вкусные ягоды.

И еще листва скрывает яблоки. Они лежат в слоях опавших листьев, не касаясь земли. Крепкие, холодные яблоки.

Мне хорошо и немного грустно. Все — низкие тучи и тепло земли, холод яблок и сладость плодов, моя грусть и сам старый сад — все, все, весь сон! — переполнено чувствами. Я не понимаю их и не пытаюсь понять; я просто счастлив, что ощущаю их, я готов обнять всю землю и слушать весь мир.

А солнца нет. Есть отец: молчаливый, небольшого роста мужчина, идущий рядом. И мне кажется, что тепло и свет — от него. Он излучает их для меня, оставаясь где-то в тени, не выражая ни одобрения, ни порицания и лишь молча протягивая мне крепкие холодные яблоки...

Приснись же, старый, как добрая сказка, сон! Ты все реже и реже посещаешь меня, и вместо твоей гармонии приходят кошмары.

Приснись мне, отец! Протяни яблоко. Согрей.
И успокой...

Я написал об отце по той же причине, что и о бабушке: он тоже был вполне определенным русским социальным типом. Ныне настолько редким, что впору вспомнить о Красной книге. И еще потому, что должен, обязан успеть доложить:

— Отец — сделано!

Кажется, в июне 1968 года я начал писать повесть о войне. Я писал неторопливо, иногда несколько строчек в день, часто отвлекаясь. Тогда на киностудии «Ленфильм» режиссер Михаил Ершов снимал фильм по нашему с Кириллом Рапопортом сценарию «На пути в Берлин». Я часто ездил на съемки, даже снялся в эпизоде, бывал на натуре и в павильонах, а писать не спешил. У меня не было ни договоров, ни обязательств, а было тревожное чувство обязанности. До сей поры я не испытывал подобного чувства, хотя четверть века зарабатывал на жизнь пером. Но одно — «зарабатывать на жизнь», а другое — «быть обязанным». Я закончил эту повесть в апреле 1969 года, назвал ее чудовищно («Весною, которой не было», это же придумать надо, это же опять «И. Зюйд-Вестов» выскочил!), положил в конверт и отправил в журнал «Юность». Дней через десять телефонный звонок разбудил меня в шесть часов утра:

— Вы — автор повести? Никому не давайте, мы берем и ждем вас сегодня в редакции.

Звонил Изидор Григорьевич Винокуров — он тогда был заведующим отделом рукописей в «Юности». И впервые я пришел к нему, а уж он знакомил меня с работниками редакции, и в том числе — с Марией Лазаревной Озеровой: их, то есть Озерову и Винокурова, Борис Николаевич Полевой называл моими крестными. И они в самом деле мои крестные, благословившие меня в серьезную литературу.

Я узнал Бориса Николаевича Полевого задолго до того, как был представлен ему Марией Лазаревной. В 1954 году театр города Дзержинска, что на Оке, первым в стране поставил спектакль по книге «Повесть о настоящем человеке». И случилось так, что я попал на премьеру этого спектакля.

Узкий и длинный зал был переполнен, я сидел на стуле в проходе, упираясь ногами, чтобы не сползти вперед. Но вдруг запела труба, и я обо всем забыл. Я не знаю, хорошо ли играли актеры, не знаю, какова была режиссура, не знаю, удачной ли оказалась инсценировка, — я ничего не

знаю, потому что подобного спектакля я более не видел. Я видел лучше — и много лучше! — но *такого* мне видеть более не привелось. Переполненный зал не пустел в антрактах: он подпевал трубе, играющей за кулисами, отбивал ритм и дышал таким единением со сценой, какого — повторяю — мне ощутить более не посчастливилось. А когда окончился спектакль, на сцену вышел Полевой, и зал поднялся, взорвавшись овацией. Не спектаклю, не актерам, нет — Настоящему Человеку, который, смущенно улыбаясь, стоял на сцене в мешковатом костюме без галстука...

— Откуда вы появились, тезка? Расскажите, как дошли до жизни такой...

Многие любят расспрашивать — то ли утоляя собственное любопытство, то ли отдавая дань вежливости, — но я мало встречал людей, которые расспрашивали бы с такой искренней заинтересованностью. И я рассказывал Борису Николаевичу многое из того, что намеревался написать: он оказался первым слушателем туманных, очень сумбурных, еще непонятных и самому автору рассуждений о будущих романах «В списках не значился» и «Были и небыли». Нет, Борис Николаевич никогда ничего не оценивал в подобных беседах, ничего не советовал и ни от чего не предостерегал, но слушал с таким искренним интересом, что мне хотелось писать.

— Слушайте, старина, это поразительно, что вы рассказали. Кстати, венгры подарили мне бутылочку превосходного вина, и я думаю, что нам следует выпить по глотку. Закройте дверь, я достану рюмки.

Живая заинтересованность и благожелательность были основой характера Бориса Николаевича. А ведь заинтересованность в судьбе ближнего и благожелательность к окружающим — это как раз то, чего так не хватает в нашем мире. То действенное добро, без которого трудно жить и трудно работать.

Конечно же редактор Борис Полевой не только хвалил — на полях рукописей, прочитанных им, пестрели вопросительные и восклицательные знаки, галочки и знаменитое «22!», которое я получал, кажется, чаще остальных авторов «Юности». Борис Николаевич первым обнаружил во мне «И. Зюйд-Вестова» и боролся с ним неустанно и сурово. И я стал строже писать, потому что на полях были эти «22!».

Повесть прошла обсуждения без замечаний, если не считать настойчивой просьбы одного члена редколлегии оставить в живых хотя бы одну зенитчицу. Замечания самого Б. Н. Полевого сводились к трем пунктам:

заменить «шмайссеры» на автоматы, что понятнее обычному читателю;

заменить «еловое корневище» на «еловый выворотень»;
ради бога, другое название (22!).

Последнее оказалось делом нелегким: мы заседали часа четыре в кабинете Марии Лазаревны на Воровского. Мы — это Озерова, Винокуров, Ирина Сергеевна Боброва и Андрей Мускатблит. Андрей исписал два листа названиями, но толку не было, как вдруг Изидор Григорьевич сказал:

— Зори тихие. Зори здесь тихие. Нет, «А зори здесь тихие...».

На этом можно было бы поставить точку. Не потому, конечно, что повесть «А зори здесь тихие...» есть некая вершина — это хорошая работа, не более того, — а потому, что эта повесть в моей судьбе оказалась перевалом: я стал писателем. Я прекратил «занятия литературным трудом», а начал писать, начал работать, осознав не только свои возможности, но и меру своей ответственности, поняв, что путь к вершинам писательского мастерства вымощен страницами *ненаписанных* романов, ибо способность подвергать сомнению собственную работу на любом этапе и есть основной признак художника. Конечно же, я не считаю, что постиг все тайны мастерства и что отныне мне подвластен любой материал и любая тема: я учусь. В этом одна из причин отсутствия моего, лично мне принадлежащего стиля: «Зори» написаны совсем иначе, чем, скажем, «Лебеди», а «В списках не значился» не так, как «Были и небыли». Я всегда стремлюсь подыскать для нового материала особую, только ему присущую форму. Не мне судить, насколько это удастся, но — повторяю — я к этому стремлюсь, ибо не стоит вливать новое вино в старые мехи.

К этому времени относится моя вторая, куда более плодотворная встреча с театром. Первым поставил спектакль по повести «А зори здесь тихие...» режиссер Ленинградского театра юного зрителя Семен Ефимович Димант: премьера была сыграна уже 9 мая 1970 года. Но успех ожидал эту повесть на другой сцене — в Театре драмы, что на Таганке. Однако это совсем иная тема, и коли касаться ее, то надо рассказать и о Ленинградском театре драмы и комедии на Литейном, и о Борисе Ивановиче Равенских, и о Михаиле Александровиче Ульянове, и о Белорусском Академическом театре драмы имени Янки Купалы, и о Марке Анатольевиче Захарове, и о будапештском театре «Микроскоп», и о венгерском режиссере Иштване Иглоди, и о Русском драматическом театре в Риге, и о театре «Современник», и об Олеге Павловиче Табакове, и о Вячеславе Спесивцеве, и еще о многих, многих других: театр требует особой работы.

Впрочем, как и кино. А я еду с ярмарки.

Еще смеются рассветы, и уже чуть грустят вечера. Еще хочется танцевать, но уже просыпаешься с легкой горчинкой, вспоминая, как прыгал и махал руками. Еще, как в детстве, хочется куда-то бежать, кого-то спасать, но все чаще и чаще приходят мгновения, когда уже не хватает воздуха со всего земного шара и начинаешь судорожно заглатывать его, а он не желает лезть в твою грудную клетку.

А ведь там бьется сердце. Оно всю жизнь бьется в клетке, и мало, ох как мало счастливых, которые выпускали это сердце на волю! И если я завидую кому-либо, то только этим безгранично свободным людям.

Прожитая жизнь — одеяло, которым тебя когда-нибудь закроют с головой. Оно может оказаться теплым, коротким или подмоченным, а у меня — лоскутное. Ничто не вечно, но если хоть один лоскутик мой понадобится людям через четверть века, я буду иметь все основания считать себя счастливым. Нет, мне не приснилась моя жизнь — я сшил ее себе сам. Как умел, как мог, но — сам. И на основании этого рискну утверждать, что признаю лишь один талант — неистребимую жажду работы. Через соблазны, через усталость, через «не хочу» и через «не могу». И талант этот — не от бога и не от природы, а только от родителей. И я встаю на колени и низко кланяюсь им, как мама когда-то кланялась праху доктора Янсена.

Я жил страстью, а не расчетом, не оглядываясь по сторонам и не прикидывая, что ждет впереди. Я плыл не против течения, не по течению, а туда, куда указывал вложенный в меня компас, стрелка которого с раннего детства была ориентирована на добро. И я никогда не задумывался, добро ли я совершаю или зло, веря, что зло от чистого сердца во сто крат лучше добра по расчету. Да, я многих обидел и многим причинил боль, я грешен, как грешен любой из нас, но пот смывает все грехи, если пролит он для людей и за людей. И это единственное средство остаться чистым в наш век загрязненной окружающей среды.

Ах, как спешат мои кони! Я не гоню их, но и не удерживаю, будучи твердо убежденным, что нужно прибавлять жизнь к годам, а не годы к жизни. А дни мелькают, как верстовые столбы, и мне неведом их конечный счет. И это прекрасно, и надо каждый день начинать так, будто он — последний, а ложаешься спать, с ликованием ощущать, что впереди — целая жизнь. Да притом еще и непочатая.

Писателя отличает одно странное свойство: способность отчетливо помнить то, что с ним никогда не случилось. Это не память разума, а

память всех чувств, свойственных человеку, и когда разворошишь ее — видишь, слышишь, обоняешь и осязаешь, как наяву. И коли случается такое — разговариваешь с героями как с реальными людьми, болеешь их болями и смеешься их шуткам. И если ты искренне болеешь и от души смеешься — читатель тоже будет болеть и смеяться. Он заплачет там, где плакал ты, вознегодует твоим гневом и засияет твоей радостью. Если ты был искренен. Только так. Искренность писателя есть его единственный пропуск в читательскую душу. Разовый, разумеется. И всякий раз его приходится выписывать заново каждой новой строчкой.

А еще мне представляется, что писатель — Творец. Он создает мир, который не существовал ранее, и населяет его людьми, рожденными не женщиной, а им самим. Он управляет событиями в этом созданном им мире, он вяжет из событий истории, он заставляет солнце светить, когда он этого хочет, и присылает дожди и ненастья по собственной воле. У него огромная, божественная власть в мирах, сотканных им из собственной бессонницы, и значит, он должен быть справедлив, как высший судия. А справедливость — это победа добра.

И я мечтаю об этой победе. Я мечтаю о ней постоянно, неистово и нетерпеливо и сражаюсь за нее на всех доступных мне фронтах. Добро должно восторжествовать в этом мире, иначе все бессмысленно. И я верю, оно восторжествует, потому что мои мечты всегда сбывались.

Правда, одна мечта так и осталась несбыточной. Я всю жизнь мечтал передохнуть. Долго-долго — с мая по октябрь — бродить по селам и рекам, встречаться с людьми, собирать грибы, ловить рыбу, с уютной думою глядеть в ночной костер и просыпаться от капель росы. А вместо этого я все бегу и бегу неизвестно куда, бегу, задыхаясь и падая, и все никак не могу добежать.

Ах, как быстро летят мои кони!..